



Это мы

УДК 82-34
ББК 84(2)

**А.Полотно. Короткие истории. Про меня, про Сашку-брата
и про Кольку-дурака.**

Подписано в печать 18.11.2014 г.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 282
Санкт-Петербург: Свое издательство, 2013.
Художник С. Баричев
www.polotno.ru

ISBN 978-5-4386-0650-5

© А. Полотно
© С. Баричев

АНАТОЛИЙ ПОЛОТНО

Короткие истории

Про меня, про Сашку-брата и про Кольку-дурака

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«Папа! Расскажи мне историю про тебя, про Сашку-брата и про Кольку-дурака...» — просил меня сын Кирюша после того, как, рассказав все сказки, которые знал, я однажды поведал ему пару историй из своего детства.

Истории эти не придуманы, они на самом деле произошли в моем далеком детстве, которое проходило на Урале, в пригороде Перми, в поселке Верхние Муллы, на улицах Замуляновская-1, Замуляновская-2 и на нашей речке Мулянка.

Колька Харитонов был старше нас года на три-четыре. Мы с Сашкой-братом в школе тогда еще не учились, и Колька не учился. В обычную школу его не взяли. А в ту, в которую ему было предписано ходить, отец не пустил. Видимо, поэтому у Кольки не было друзей-ровесников, и ему не с кем было играть, ну а мы с ним дружили и играли все детство.

Как-то раз, после очередного общения с сыном, меня спросила жена Наташа: «Что это такое любопытное ты рассказываешь Кирюше?» Я ответил, что это истории из моего детства. «А записать их не пробовал?» — поинтересовалась Наташа.

Так появилась на свет эта книжка. Кроме Кирюши и моей жены, она, наверное, будет интересна еще и тем, кто более или менее знаком с моими песнями.

С уважением, А. Полотно

ЧИЖ

Была у нас такая игра, которая так и называлась — чиж. Какое отношение она имела к известной певчей птице, я не знаю. Скорее всего, дело в косточке-чиже, которая устанавливалась на вертикальную палку, вбитую в землю, и по которой надо было еще и попасть другой палкой, хорошо прицелившись, чтобы косточка-чиж полетела как птица — в любом направлении. Все зависело от силы и точности удара. Обычно мы играли в эту игру в проулке под тополями, между домами дяди Коли Казакова и дяди Коли Кусакина.

Дело было в мае. Травка уже зазеленела. На Урале весна приходит позже, и появившиеся листики давали неповторимый аромат весенней радости, который меня волнует и сегодня. Мы вбили поглубже уже упомянутую вертикальную палку, установили на ней чижа и стали тянуть жребий в виде спичек — кто первым начнет кидать. Поскольку спички были только у Кольки-дурака, то он и держал зажатые в кулаке три спички, одна из которых должна была быть короче. Кто ее вытянет, тот и кидает первым.

Я уже упоминал, что Колька-дурак был старше и поэтому хитрее. Все три спички были одинаковыми. Мы же с Сашкой-братом тянули их, не зная об этом. Ведь если бы мы вытянули две длинные спички, то у Кольки осталась бы, естественно, короткая. Мы даже не пытались проверить оставшуюся спичку — что мы, дураки, что ли?

В общем, Колька-дурак кидает первым. Надо сказать, то ли оттого, что Колька был старше нас, то ли от природы, но силой Бог его не обидел. Колька-дурак пошел как грач по пашне к заветной черте, от которой следовало бросать ему увесистую и длинную дубину по чижу. Остановившись и набрав побольше воздуха в легкие, Колька наотмашь запустил свою палку с такой силой, что она сначала улетела высоко в голубое небо,

а потом по кривой траектории угодила прямо в кухонное окно дяди Коли Кусакина, который в это самое время собирался ужинать, придя с работы.

После звона разбитого стекла наступила мертвая тишина, но ненадолго. Сначала послышались охи-ахи тети Нины, а потом появился на крыльце и сам дядя Коля Кусакин. В белой майке, черных штанах и с ремнем в руках. Мы с Сашкой-братом так и остолбенели, не в силах тронуться с места, а наш Колька-дурак припустился бежать по проулку в сторону речки Мулянки, да так, что грачи разлетелись с соседних огородов, потому что на бегу Колька еще и громко кричал: «Это не я!!!» Но дядя Коля Кусакин каким-то образом догадался, что именно он — Колька-дурак и расколотил его кухонное окно, стекла которого осыпались аккурат в щи, стоявшие на столе и только что налитые тетей Ниной.

Жили дядя Коля с тетей Ниной бедно, потому что у них было много детей — так мне говорила моя бабушка Лиза, очень добрая и сердобольная. По этой причине к нам в дом приходило много нищих, и бабушка поила их чаем с «пряничком», то есть с сухариком черного хлеба. Тогда все жили бедно. Ну да я отвлекся.

Значит, наш Колька-дурак бежит и кричит: «Это не я!!!», а за ним бежит дядя Коля с ремнем, босиком и молча. Дядя Коля был фронтовиком, и ему на работе давали гостинцы на 9 мая — так он говорил. А вообще он был немногословный, когда трезвый. Выпившим же любил пообщаться со всеми. И с нами тоже. «Я ведь пить-то не люблю, ешь-ма, особенно днем, а если и выпью когда днем, то только по праздникам — ешь-ма», — вещал он нам со своего крыльца, закручивая махорку в самокрутку. И казалось, что разговаривает он не с нами, а сам с собой, глядя прямо на нас. Что касается праздников, то дядя Коля не врал, в праздники все днем выпивали, и даже с утра. Праздники у нас любили и справляли всегда, всей Замуляновской!

Самым любимым праздником у нас тогда был День Победы, который отмечали накануне описываемых событий. Утром 9 мая дядя Коля Кусакин выносил на улицу стол и все гостинцы, которые ему давали на работе. Рядом ставил свой стол дядя Коля Казаков, и накрывал его своими гостинцами. Следующим ставился стол дяди Феди, отца Сашки-брата и моего дяди, тоже фронтовика и участника Финской и Отечественной войн. Потом ставил стол дядя Вася Жуланов по прозвищу Жулан. Он выносил еще и гитару с бантом на грифе. Следующий стол устанавливал дядя Володя Жихарев, отец нашего дружка Вовки Жихарева по кличке Дыдка. Ну а уж потом выставлялся наш стол, бабушки и отца.

Наши дома стояли рядом: дом № 7 — бабушкин, а дом № 5 — отцовский. Отец выносил свой баян, а дедушка — гармошку-двухрядку по случаю праздника. Следующий стол накрывали Симоновы, проживавшие в доме № 3, и уже самый богатый едой стол выносили Кели, жившие в доме № 1.

«Кель ведь начальник», — говорила моя бабушка. Он и начинал праздник. Говорил Кель негромко и медленно, будто экономил голос, но получалось все понятно и торжественно. В конце речи он поднимал стакан и предлагал почтить память павших минутой молчания, и женщины начинали плакать, потому что павшие были в каждом доме на нашей улице. Следующий стакан поднимали за Победу, и лица у всех становились светлее и веселей. Потом рассказывали всякие истории про войну, а мы, мальчишки, бегали от одного стола к другому, чтобы не пропустить что-нибудь интересное и попробовать разные вкусы на разных столах. Позже отец с дедушкой брали баян и гармошку, а дядя Жулан гитару с бантом, и все начинали петь, хохотать и плясать...

Ну да я опять отвлекся. Так вот, значит, Колька-дурак бежит, а дядя Коля Кусакин за ним, и бегут они напрямик к нашей речке Мулянке, в которую упирается проулок между

1-й Замуляновской и 2-й Замуляновской улицами, а больше у нас и улиц не было, только два шоссе по краям. Кольке-дураку и бежать-то было некуда, но он бежал, а дядя Коля за ним, с ремнем в правой руке. Видимо, это обстоятельство и побудило Кольку-дурака спрыгнуть в речку. А вода холодная, лед не так давно сошел, а за ним и паводок. Стоит наш Колька посреди речки и орет, что это не он, а дядя Коля Кусакин стоит и молчит на берегу, и смотрит недобро. Не знаю, сколько продолжалось бы это противостояние, — ведь дядя Коля в разведке служил и ждать умел, да тут тетя Нина прибежала и говорит своему мужу: «Колька, да брось ты его, я там уже все убрала и щи налила — стынут». Добрая была женщина тетя Нина, всегда нас, мальчишек, выгораживала: «Колька, ну пойдем домой, ведь он не нарочно. Да и того, маленько пожалей ты его». Только дядя Коля ноздри раздул и сквозь зубы говорит: «Выходи, Колька, ешь-ма, уши надеру и отпущу, ешь-ма». А наш Колька: «А папке не будешь жаловаться на меня?»

Папка Кольки-дурака, дядя Вася Харитонов, тоже фронтовик, жил со всем своим семейством неподалеку от нашей Замуляновской улицы и работал на ремзаводе кузнецом. «Правильный цыган», — говорила одобрительно про дядю Васю кузнеца моя бабушка. Вот его-то наш Колька и боялся больше, чем ремня дяди Коли. Поэтому и вышел на берег, когда дядя Коля сказал, что не будет жаловаться. Тут дядя Коля посмотрел на мокрого, замерзшего и напуганного Кольку-дурака нашего, повернулся и молча пошел по проулку своими босыми ногами, помахивая солдатским ремнем.

Марчуги. 13 августа 2013 г.

КАМЫШИ

Карманных денег у нас с Сашкой-братом не было, да вообще никаких не было, а очень хотелось, чтобы они были. И когда однажды Колька-дурак предложил нам нарезать много камышей и продать их в Балатово по пятачку за штуку, мы вначале засомневались — кому они нужны? — а потом загорелись этой идеей, потому что тот же Колька показал нам целую горсть пятаков и развеял все наши сомнения. У него не было велосипеда, на котором можно было бы съездить в Согру за этими красивыми, с коричневой мягкой макушкой растениями, растущими по берегам озер в Согре. Согрой назывались в прошлом заливные луга, тянувшиеся вдоль реки Камы километрах в десяти-пятнадцати от Верхних Муллов, где мы жили, в сторону аэропорта Савино.

Так вот, велосипеда у Кольки-дурака не было, а у нас с Сашкой-братом были. Ну, конечно, не у нас, а у наших отцов. У дяди Феди, отца Сашки-брата, был взрослый велик синего цвета Пермского велосипедного завода, а у моего отца был черный взрослый велик. Почему я так упорно называю эти велосипеды взрослыми? Да потому что и тогда были детские, подростковые велики, и даже дамские — без рамы. А у нас были взрослые, и с нашим малым ростом на взрослом велосипеде приходилось крутить педали под рамой: ноги были коротки, чтобы доставать до педалей с сиденья.

Это обстоятельство нас несколько не огорчало, мы так мастерски научились гонять под рамой по нашей Замуляновской, что готовы были ехать хоть за сто километров, когда увидели горсть карманных пятачков. К тому же у Кольки-дурака ноги были длинными, значит, один из нас с Сашкой-братом мог сидеть на раме, когда Колька крутит педали. Одним словом — план был идеальный.

С вечера мы подкачали колеса, смазали цепи, приладили

на рамы самодельные сидушки, наточили складные ножички, которые нам дед, изобретатель-самоучка подарил. Сказали бабушке, что собираемся на рыбалку в Согру, а она наше увлечение рыбалкой с Сашкой-братом всегда одобряла, и в этот раз собрала нам в дорогу туесок с нехитрой едой: хлеб, картошка, вареное яйцо, лучок, соль. И, наказав, чтоб не неслись как дикошарые по дороге и у воды были поосторожней, ранним утром проводила нас у ворот. Колька-дурак поджидал нас у моста через речку Мулянку, рядом с которым стояла мельница моего другого дедушки, по матери, — деды Миши.

Я сел на сидушку на раме, а Колька сел на сиденье — крутить педали. Крутил педали Колька хорошо, с задором, а вот рулить, то есть управлять велосипедом, ему удавалось плохо, поэтому и приходилось сидеть на раме и подруливать, а не на заднем сидении, как мы ездили с отцом на рыбалку, пока он не купил мотоцикл с коляской ИЖ-49.

Машин тогда было мало, и можно было не опасаться, что какой-нибудь лихач собьет тебя или столкнет с дороги своим грузовиком. Где-то через час мы добрались до озера Чупино, которое большой подковой тянулось к реке Каме. Дно озера, песчаное и пологое, хорошо просматривалось через чистую воду и прекрасно подходило для купанья, но рой комаров не всегда позволял это делать. Берега озера поросли березами, ивой, разными травами, цветами и камышом. Сашка-брат посмотрел на озеро, потом на меня, и мы с азартом стали резать камыши своими складными ножичками, выбирая самые лучшие.

Нарезав две большие охапки и привязав их на задние сиденья велосипедов, мы решили порыбачить, а то как же? С озера Чупино приехать без рыбы — такого не бывало. Вырезали из ивы три удочки, приладили к ним лески с крючками, грузилами и поплавками — снасти всегда были при нас, копнули червячков — их там как листьев в лесу, и давай рыбачить. Но рыбалка в тот день была слабая — штук по десяти оку-

ней на каждого, по пять-семь средних карасиков золотистого цвета, самых вкусных по мнению бабушки и по нашему тоже, ну и по три-четыре крупных карася на уху. Вот и весь улов.

Отправились назад, но с грузом ехать оказалось намного труднее, чем налегке, поэтому Колька-дурак никак не хотел просто крутить педали. Ему захотелось рулить, и он все твердил, настаивал: «Дай порулить, дай порулить...» Пришлось уступить ему, и как только руль оказался полностью в его руках, мы оказались в канаве, и я сильно расшиб колено, которое болело потом целую неделю.

Колька-дурак перешел к Сашке-брату крутить педали.

Сашка-брат был моим самым лучшим другом детства. Во-первых, он был моим двоюродным братом и, как говорил мой отец, Сашкин крестный: «Вы должны всегда быть друг за друга горой». Так оно и было: сначала на улице, а после и в школе.

Мы были погодки. Сашка был старше меня ровно на один год без одного дня: он родился 19 февраля 1953 года, а я 18 февраля 1954-го. Жили мы по соседству — я у бабушки с дедушкой в доме № 7 по 2-й Замуляновской, а Сашка-брат — напротив, в доме № 6. Его семья состояла из пяти человек: дяди Феди, тети Таси, дочерей Людки и Гальки и Сашки-брата, моего лучшего друга детства.

Однажды он спас меня от неминуемой смерти. В ледоход мы катались на льдинах, управляя ими шестом. Я сильно оттолкнул свою льдину от берега, и меня унесло на середину нашей речки Мулянки. Когда мой шест не достал до дна, чтобы оттолкнуться, я растерялся, испугался и совсем не знал, что делать. Выпрямился на льдине и заревел... И тогда Сашка-брат, перепрыгивая с одной льдины на другую, добрался до меня, схватил за руку и потащил обратно к берегу, не говоря ни слова. «А иначе бы в Каму утащило, ешь-ма, — сказал на берегу прибежавший с багром дядя Коля Кусакин. — А там хана, ешь-ма, неминуемая смерть!»

Мой Сашка-брат придумал делать самокаты на подшипниках, которые неизвестно где брал. И мой отец — Сашкин крестный — хвалил его: «Молодец, Сашка, мастеровым рас-тешь, весь в Федьку-брата!»

Мой дядя Федя работал после войны шофером на МАЗе, а потом по здоровью, как говорила моя бабушка, был переве-ден на легкий труд — кочегаром в райком партии, до которого по переходу через нашу речку Мулянку было пять минут ходь-бы. «В тепле все-таки. Поезди на этих трясу-чих драндулетах с его-то ранами. Ведь четыре ранения у Феденьки. Слава тебе, Господи, живым вернулся», — причитала моя бабушка вслух. Говорила она еще, что в райкоме партии ему положен какой-то паек раз в месяц и отпуск побольше.

Тетя Тася с девчонками, которые уже ходили в школу, и Сашкой-братом хлопотала по дому, по хозяйству: то печку топит, то за водой с коромыслом идет, то белье на речке по-лощет. Ну, понятно, готовит, убирает, гладит — да мало ли дел у хозяйки в своем доме. Очень трудолюбивая семья у них была, дружная. Наверное, потому Сашка-брат дружить умел по-настоящему...

Ну, вернемся к камышам. Значит, пересел Колька-дурак к Сашке-брату на велик и не унимается: «Я буду рулить, иначе не скажу, где в Балатово надо камыши продавать по пяточку за штуку». А Сашка-брат терпеливый был парень и молчали-вый. «Ладно, — говорит, — ру-ру-ру-ли». Сашка-брат немно-го заикался и из-за этого стеснялся говорить с другими людь-ми. Всегда меня просил, если надо было поговорить с кем-то, а со мной говорил нормально, потому что я не смотрел на него, когда он говорил — так бабушка научила: «Не смотри на заику, не волнуй его, ему, богову, легче будет говорить».

Так вот, едут они с Колькой-дураком кое-как, а я сзади еду, страхую. Это тоже отец говорил: «Никогда не бросай друга в беде», а беда-то была настоящая. Колька-дурак во вкус во-

шел, рулит во все стороны и хохочет. Выехали на шоссе, а там машин прибавилось, гудят нам, сигналият, а Колька едет прямо по середине дороги зигзагами.

«Нет, — думаю, — ужокошит он нас с Сашкой-братом, как пить дать ужокошит! А потом бабушке похоронку пришлют». Остановился я, бросил свой велик на обочину, и за ними. Догнал. «Стой, — говорю, — вражина фашистская». И Кольку — за грудки, а он сильнее, руку мне вывернул и продолжает хохотать. Тут Сашка брат спрыгнул с сидушки, схватил придорожный камень, да как закричит: «Убью, падла, за брата!» Аж мне страшно стало, и даже не заикнулся, а после заикание у Сашки и вовсе прошло. Тут Колька-дурак спрыгнул с велика и айда бежать в поле перед ремзаводом, хныча на бегу и приговаривая, что не покажет нам, где камыши в Балатово продавать надо по пятаку за штуку.

А Балатово — это тоже пригород Перми, граничивший с Верхними Муллами, только дома там большие, пятиэтажные, и дороги асфальтированные, и столбы с фонарями яркими, и магазины. «Балатово построил нефтезавод для своих рабочих», — говорила мне бабушка, когда я ложился спать, а она мне сказки рассказывала. Мне тогда это тоже сказкой показалось. Ну как, думал я, этот Нефтезавод так много домов сумел построить?»

Да ладно. Стоим мы с Сашкой-братом на шоссе возле великов с камышами и думаем: где же в Балатово камыши эти продавать можно? Ведь в Муллах они никому и не нужны. Кричим Кольке-дураку: «Ладно, Колька, иди сюда! Не будем мы тебя убивать — это мы понарошку сказали, только великом рулить тебе не дадим». Колька-дурак подбежал обратно и спрашивает: «Ну, с кем я поеду?» «Пешком пойдем», — ответил я и за себя, и за Сашку-брата. И пошли. Шли мы долго по обочине. Прошли мимо ремзавода, где дядя Вася Харитонов кузнецом работал, и дошли, наконец, до моста через Мулянку.

Рядом с которым и стояла полуразрушенная мельница моего другого деда Миши. Камыши там спрятали, а сами поехали домой к бабушке вместе с Колькой-дураком и рыбой.

Бабушка Кольку тоже любила и не запрещала нам дружить с ним в отличие от тети Таси — матери Сашки-брата. «Жалеет она всех, баба Лиза твоя. Будь моя воля, этот ваш лоботряс Колька и близко бы к вам не подошел», — как-то в сердцах сказала мне тетя Тася, глядя поверх моей головы на приближающегося Кольку.

А Колька и правда был иногда странным, но нам это не мешало. И взрослые иногда странными бывали — ни с того ни с сего начинали нас ругать и наказывать, а пацаны постарше — так те вообще задирались постоянно на каждом углу, это обычное дело...

Покормила нас бабушка всем, что было, и мы бегом к камышам нашим, бабушка только и успела посетовать вслед: «Куда же вы все бежите, торопитесь, пострелы окаянные? Ну да бежите, бежите с Богом...» Если бы она знала, куда мы бежим, она бы никогда нас не благословила. У бабушки к торговле было свое, негативное отношение: «Жулики там все! И нас обманывают, и начальство свое, им бы только обмануть кого, а честным трудом жить не хотят, потому что ленивые», — жаловалась она раз соседке нашей, тете Тоне Жихаревой, матери нашего Вовки Жихарева, на продавцов в магазине, когда я с ней за хлебом ходил в продмаг возле детского сада, который располагался напротив райкома партии, за нашей Мулянкой.

Ну так вот. Прибежали мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком на мельницу, разложили наши камыши на три кучки, связали их веревкой и айда пешком на трамвайную остановку. Пришли, ждем трамвая, чтобы в Балатово ехать, камыши продавать по пятаку за штуку, а в карманах — ни копейки. Колька-дурак, не будь дураком, где-то спрятал свое сокровище в виде круглых пятачков или потратил куда, а билет три

копейки стоит, а нас трое — значит, девять копеек, а кондукторы — тетки злые, высадят. Стоим на остановке «Ключевая» и думаем: как же нам доехать до Балатово?

Ключевой остановка называется, потому что рядом на пригорке бьют ключи, родники такие с чистой водой. Там сделано углубление, чтобы черпать воду ведрами и носить домой на коромыслах. А из канавы, в которую холодными струями стекает вода и течет в нашу речку Мулянку, никто воду не берет, только для полива или мытья — так мне бабушка моя говорила.

В общем, стоим мы на остановке и думаем о том, как бы нам до Балатово того доехать на трамвае №2.

«А трамвай у нас знатный, трехвагонный. Это чтобы людей всех на работу увезти из Балатово, а потом привезти обратно», — рассуждал как-то мой дедушка, изобретатель-самоучка, стоя в огороде с лопатой и поглядывая на проходящий мимо нас трамвай №2. Дед мой служил, как он сам выражался, на железной дороге. Каждый день он вставал в четыре утра, завтракал и шел пешком через Черняевский лес на станцию Пермь II. Рабочая смена у него начиналась в шесть часов утра, и бабушка, провожая его на работу, все время ругала кого-то: «Уж война кончилась, а они все людей истязают. Креста на них нету, супостатов проклятых». Но мой дедушка работу любил, и станцию любил, и паровозы. Технику разную он по журналу изучал, который приносил ему раз в месяц почтальон, безрукий дядя Ваня. Они с дедом говорили о науке. Дед мой был изобретателем-самоучкой. По словам бабушки, он изобрел радио! Так я думал до самой школы, пока не узнал, что радио изобрел какой-то изобретатель Попов, тоже из Перми, хотя многие сомневаются, и я тоже. Но тогда я был уверен — радио изобрел мой дед. Каждый вечер, особенно зимой, когда его не отвлекал от науки огород, как он сам говорил, придя со службы, мой дедка раскладывал после ужина на том же кухонном столе какие-то диковинные детальки, паяльники, инструмен-

ты разные и изобретал радио. Если что-то падало, я доставал из-под стола или из-под большой сосновой скамьи, стоявшей вдоль всей избы напротив русской печки с полатями. Дедушка меня любил и хвалил: «Молодец, Толянка, молодец, внучок! Вот подрастешь, и мы с тобой такого наизобретаем, только учишься хорошо, когда в школу пойдешь!»

И когда я в школу пошел, учился хорошо первые три класса в Верхнемуллинской средней школе № 1. Я был отличником, и меня даже хотела усыновить наша учительница начальных классов Полина Ивановна, на что моя бабушка Лиза, когда учительница обратилась к ней с этим предложением, ответила: «Да что ж ты, боговая, как же при живых-то родителях, да усыновить? Ты еще молода, родишь себе ребеночка, и все у тебя будет хорошо». В общем, не отдала меня бабушка в сыновья учительнице Полине Ивановне.

Но это будет потом, а сейчас стоим, значит, мы — я, Сашка-брат и Колька-дурак, и думаем, как же нам доехать до этого Балатово, когда денег нет — обратно-то деньги будут, много будет, а как — туда? И тут Сашка-брат говорит: «По-по-по одному в-в-в вагоне». Что-то сильно заикался Сашка-брат, видимо, Колька-дурак на него уставился, а может, сам разволновался, но я усек, что надо садиться всем в разные вагоны. Вагонов-то три, может, по одному зайцу и можно провозить кондукторам. Это я позже узнал, что безбилетных «зайцев» в нашем трамвае обычно бывает больше половины. А тут и трамвай подоспел. Разбежались мы по разным вагонам, а там будь что будет. Стою я в первом вагоне в сандалиях на босу ногу, в рубашке и в коротких штанах на лямках, и за своими камышами прячусь, а кондукторша — тетя с сумочкой на груди — на меня даже и не смотрит, будто меня и нет. Так я и приехал в Балатово на остановку Леоново, о которой Колька-дурак сказал перед самой посадкой в трамвай, когда я у него спросил: «А где выходить-то?» «На Леоново спрыгивай, если

не выкинут раньше», — ответил он мне, а стало быть, и Сашке-брату.

Не выкинули. Кондукторши оказались хорошими тетями. «Может, у них своих безбилетников семеро по лавкам сидят, ешь-ма», — предположил дядя Коля Кусакин, когда мы ему рассказали позже, сидя рядом на его крылечке, как мы в Балатово съездили... Выскочил я из вагона как заяц из кустов, вздохнул полной грудью, стою и улыбаюсь, и Сашка-брат подошел, тоже улыбается, а вот Колька-дурак подкатил с безразличным видом и говорит: «Что лыбитесь? Авэн к магазину торговать!» И потопал. Мы — за ним. «А-а-а как будем торговать?» — спрашивает меня Сашка-брат, а я представления не имею. Перешли через дорогу гуськом за Колькой-дураком, подошли к магазину, остановились и смотрим на Кольку уже без улыбок. А Колька-дурак: «Ну, что уставились? Торгуйте!» Тут мы с Сашкой-братом в один голос: «Да как? Мы же не умеем». Тогда Колька-дурак растянул рот до ушей со словами: «Вот мелочь пузатая! Рулить мне не дают, а сами без меня ни шагу». Взял меня за шкирку и повел к среднему крыльцу магазина. «Торгуй вот тут», — сказал, а сам поволок Сашку-брата к другому крыльцу.

Когда они ушли, мне совсем поплохело, и я опять спрятался за своими камышами. Так и простоял, пока откуда-то сзади не услышал сильное заикание моего Сашки-брата: «То-то-то-Толька, по-по-пойдем до-до-до-мой!». Я ведь знал, что на Сашку смотреть нельзя, когда он говорит, но от испуга так резко повернулся к нему и уставился в его глаза своими глазами, полными слез. А вокруг люди снуют, о чем-то говорят, что-то несут, с кем-то здороваются, шутят, а мы стоим с Сашкой-братом и смотрим друг на друга — маленькие, беспомощные, на асфальтированной дорожке между большими домами и столбами с фонарями. Спас нас наш Колька-дурак, когда навис над нами как грозовая туча: «Ну чего вы

теперь устали друг на друга? Торговать надо! Я вон уже все свои камыши продал». И показывает нам полную горсть пятак. Это подействовало на нас, и, переглянувшись с Сашкой-братом, я выдавил из себя тихим голосом: «Коль, может, ты и наши продашь?» Колька опять растянул рот до ушей и говорит: «А как деньги делить будем?» Я опять на Сашку-брата смотрю, а сам говорю: «Пополам». «Не болтал — слово дал», — отвечает Колька. Это у нас что-то вроде клятвы было. Взял у нас камыши, и, сказав «Стоять здесь и ждать», Колька моментально растворился в толпе, как его и не было вовсе. А мы стояли с Сашкой-братом и ждали его. Ждали, наверное, час, и за это время какие-то тетеньки спрашивали нас, что мы тут стоим, и я им отвечал, что ждем Кольку. Какой-то дядя навеселе дал нам по конфетке и сказал: «Не ссыте, пацаны, прорвемся». И ушел, прихрамывая, по асфальтированной дорожке. А одна бабушка дала нам ватрушку, и, покачив головой, сказала: «Ох, бедные вы мои, бедные». А мы стояли и ждали, как на посту. Потом устали и присели на корточки, и снова ждали. Кольки-дурака не было. Вдруг Сашка-брат, сильно заикаясь, заговорил: «По-по-пойдем, по-по-поищем», — хотя я на него не смотрел. Пошли с опаской искать Кольку-дурака, но его нигде не было — ни у первого крыльца, ни у второго, ни у третьего, ни в магазине — нигде не было. Тогда Сашка-брат, по-прежнему сильно заикаясь, сказал: «По-по-по-ехали до-до-домой!» И мы поплелись на трамвайную остановку, которая находилась на другой стороне улицы Мира, напротив гастронома. Дождались трамвая №2, в разных вагонах мы поехали обратно, до остановки Ключевая, и хоть камышей у меня не было и спрятаться было негде, тетя-кондуктор с сумкой на груди снова меня на заметила.

На следующий день поджидаем на нашей скамейке под яблоней Кольку-дурака, хотя обычно он нас поджидал, пока мы выйдем на улицу, чтобы играть с нами. Кольки-дурака не было

весь день. Ближе к вечеру пошли к Колькиному дому, на горку через шоссе. Там на скамеечке сидел дядя Вася Харитонов, уставший после работы кузнецом на ремзаводе. Мы спросили его: «Дядя Вася, а Колька дома?», страшно боясь, что Колька-дурак где-то потерялся в Балатово среди больших пятиэтажных домов. Но дядя Вася спокойно ответил, что Колька с самого утра утресся в город смотреть кино в кинотеатре «Мир», а вот Кешка дома. Мы покричали Кешку, и он, улыбающийся, с кудрявой головой, показался в калитке. Кешка-цыган тоже был нашим другом и ровесником, особенно моим. Он тогда уже играл на гитаре, пел и плясал «цыганочку» в каком-то цыганском ансамбле на Гайве, и именно он показал мне и еще одному нашему с Сашкой-братом другу Кольке Шумарину по прозвищу Шаман первые аккорды на семиструнной гитаре. Кешка-цыган еще до школы, в которой мы с ним учились в одном классе, сам зарабатывал деньги, а у цыган любой человек, имеющий деньги, в авторитете, невзирая на возраст — так мне говорил сам Кешка-цыган. Вообще, когда я узнал, что дядя Вася — кузнец, и тетя Валя — мать Кольки, все были цыгане, то спросил у бабушки, когда ложился спать: «Баба, а кто такие цыгане?» И она мне рассказала, что это древние племена, которые живут в разноцветных шатрах и ездят в кибитках, запряженных лошадьми, по всему свету, ищут золото. А еще они гадают, показывают разные фокусы, играют на гитарах, поют и пляшут, и медведей на цепях водят, которые тоже пляшут; и птицы у них говорят человеческим голосом как люди». Мне стало интересно, и я опять спросил у бабушки: «Баба, а зачем они ищут это золото?» И тогда бабушка мне сказала: «Чтобы быть свободными! Их кто-то остановит и не пускает дальше, а они отдадут свое золото и идут дальше, и снова его ищут, свое золото. Вот и Васька-кузнец, отец твоих дружков Кольки и Кешки, пока правильный, оседлый, но как только накует на ремзаводе золота, отдаст кому надо, купит лошадь, подкует ее

и айда со всем своим семейством по свету золото искать. Ну, пора тебе, Толенька, спать». И я уснул. И мне снилось, будто цыгане во главе с дядей Васей-кузнецом взяли меня по свету золото искать. Когда мне будет лет 13–14, и я буду жить в Балатово у мамы, цыгане и вправду возьмут меня, но не золото искать, а в цыганский ансамбль в поселке Гайва, и я со своим другом Кешкой-цыганом буду играть на гитаре, петь и плясать цыганочку по сельским клубам в красной рубахе. Но тогда я про это еще не знал. Не знал я, например, что означает слово «авторитете». «Ну, это, ешь-ма, вроде как при делах, что ли, ешь-ма», — сказал мне дядя Коля, сидя на своем крыльце с самокруткой. А мой отец, крестный Сашки-брата, сказал, что авторитет — это уважаемый человек, который решает вопросы. А нерешенный вопрос у нас как раз был — как вернуть наши деньги за камыши, с которыми убежал Колька-дурак, бросив нас в Балатово посреди больших домов, на асфальтовой дорожке, под столбами с фонарями около магазина. А раз Кешка-цыган зарабатывал деньги, еще до школы играя в цыганском ансамбле на Гайве — значит, он авторитет. Вот ему-то я все и рассказал про Кольку-дурака, который как раз вернулся из города и смотрел на нас растерянно-виновато, но с пренебрежительной ухмылкой. Кешка-цыган выслушал меня, подозвал Кольку-дурака, сказал ему что-то по-цыгански, и тот, тут же вывернув карманы, отсыпал нам два рубля 15 копеек круглыми пятакками и, не меняя выражения лица, обозвал нас с Сашкой-братом ябедами. Но мы этого уже не слышали, потому что счастливые как никогда в жизни вприпрыжку бежали на свою Замуляновскую улицу, чтобы на чердаке бабушкиного дома спрятать эти сокровища в потайном месте.

Марчуги. Август-сентябрь 2013 г.

В НОЧНОЕ

Сидим мы раз с Сашкой-братом под нашим обрывом на нашей же речке Мулянке, отдыхаем, набулькались. А над нами высоко солнышко горячее висит, а под нами песочек, по которому и течет наша речка, а в ней пескари с усами, а поглубже хариусы с голавлями. Смотрим, бежит к нам Колька-дурак от нижнего моста, рядом с которым стоит старая мельница моего другого дедушки, деды Миши. На нашей Мулянке два моста: один нижний, там только машины и пешеходы ходят, и под который меня чуть в Каму не унесло, а Сашка-брат спас от неминуемой смерти; другой — верхний мост, по нему тоже машины и пешеходы ходят, но еще ездит «наш знатный трамвай трехвагонный №2, который рабочих из Балатово возит на нефтезавод туда и обратно», как говорил мой дедушка, изобретатель-самоучка деда Миша. Вот там-то, ниже верхнего моста после поворота и стоит наш обрыв, под которым мы сидим с Сашкой-братом моим, отдыхаем. Подбежал к нам Колька-дурак, развалился рядом прямо в одежде и говорит: «А я сегодня в ночное иду, лошадей от волков охранять». Мы с Сашкой-братом аж приподнялись над песком, уставившись на Кольку-дурака: «К-к-куда идешь?» — одновременно заикались мы. «В ночное иду с дядей Котей, лошадей от волков охранять», — ответил нам равнодушно запыхавшийся Колька. «Дядя Котя меня всегда в ночное берет, говорит, что без меня никак не управится», — добавил Колька-дурак и засвистел свою дурацкую песню про Ай-не-не, в которой и слов-то нет, только «ай-не-не». Колька нам как-то спел ее, еле угомонили. Дядя Котя был родным братом дяди Васи-кузнеца, отца Кешки-цыгана, Кольки-дурака и их сестер. «Они в своем таборе все братья и сестры, им в таборе запрещено жениться, нельзя — бароны запрещают», — говорила моя бабушка Лиза. Я потом спросил у Кольки-дурака, правда ли, что им бароны жениться запре-

щают. Колька подтвердил: их бароны запрещают жениться им в своем таборе, потому что у них потом родятся волосатые гамадрилы с рогами, клыками и хвостом, которые сначала, как родятся, съедят всех цыган в таборе, всех до последнего, потом лошадей с кибитками, потом всех цыган из других таборов, а потом и всех людей, и нигде от этих гамадрилов не спрятаться, и Гитлер был гамадрилом!» «Гитлер?!» — воскликнул я за себя и за Сашку-брата, но тут Сашка-брат замотал головой в разные стороны и сказал: «Г-г-г-гитлер — немец», — на что Колька-дурак возразил: «Гитлер — гамадрил, с рогами, клыками и хвостом, только волосы ему отрезали, на рога надели фуражку с черепом и костями, а хвост спрятали в штаны — и не спорьте!» Мы с Сашкой-братом и не спорили, потому что были потрясены, как и сейчас, когда узнали, что Колька-дурак идет в ночное лошадей от волков охранять!

«Колька, а можно нам с тобой в ночное лошадей от волков охранять?» — спросил я за себя и за Сашку-брата, который мигал, не переставая, глядя на меня. «Не знаю», — ответил нехотя Колька-дурак, — надо дядю Котю спросить». «Так пойдем», — с мольбой в голосе произнес я. «Авэн», — сказал Колька, встал и пошел, а мы вприпрыжку за ним поскакали прямо в саатиновых черных трусах. Дядя Котя жил за Верхнемуллинской школой № 1, в которой мы с Сашкой-братом потом учились и в которую не взяли Кольку-дурака. Если бы ехать на нашем знатном трехвагонном трамвае № 2, то надо было бы выходить на следующей остановке «Школа», сразу после нашей остановки «Ключевая» в сторону Балатово, но мы шли пешком за Колькой-дураком. Вообще-то не шли, а бежали, оббегая его то справа, то слева. Мы, конечно, и без него знали, где живет дядя Котя-цыган, это знали все. Жил он возле кладбища, в Черняевском лесу, через который ходил мой дедушка, изобретатель-самоучка к шести часам утра на станцию Пермь II служить. У дяди Коти, у единственного в Муллах, была лошадь, или

конь, — точно не знаю, но этот конь или лошадь была «законная», ему разрешили в райкоме партии, сделав исключение как цыгану. Дядя Котя спал. Колька-дурак, войдя к нему в избу, стал скрипеть половицами и покашливать, пока не услышал от дяди своего: «Тебе чего?» «Дядя Котя, — спросил Колька, — а можно в ночное Только с Сашкой взять?» «Какого Только? Внука председателя? Пусть идут», — ответил дядя Котя. Еще раз негромко скрипнули половицы, и Колька-дурак появился на крыльце и радостно выдохнул: «Разрешил!» А мы уже и сами слышали, что разрешил, потому что окно было открыто. Вся наша «русская тройка» сломя голову помчалась отпрашиваться в ночное — я у бабушки, а Сашка-брат у своей мамки тети Таси. Моя бабушка, выслушав мой сбивчивый рассказ, спросила: «Что за дядя Котя? Костя-цыган, коновод, что ли, с кладбища? Ну, этот правильный цыган, оседлый, дерзкий, правда, — кнут возьмет, не подпустит. Иди». А вот Сашку-брата мамка тетя Тася, как Сашка и предполагал, не отпускала ни в какую, пока моя бабушка Лиза ее не упростила: «Мальчишки ведь, Тася, интересно ведь, а лошади — они хорошие, не обилят, да и Костя-коновод строгий, присмотрит, раз берет». Тетя Тася отпустила Сашку-брата, потому что моя бабушка ее тоже любила и жалела. «Баба Лиза твоя всех любит и жалеет», — говорила мне тетя Тася.

И мы тут же с Сашкой-братом давай собираться. Мой отец подарил нам когда-то брезентовый вещмешок, с которым пришел из армии; на фронт он не попал, о чем очень жалел, потому что был младше Федьки-брата, отца моего Сашки-брата, а в армию сходил, как положено, и пришел из нее с этим самым вещмешком, в котором принес домой сухой паек и плащ-палатку. Плащ-палатка была тоже отдана нам — в походы ходить и на рыбалку. Кроме этой самой плащ-палатки в наш брезентовый вещмешок была положена картошка, из которой в костре получают вкусные «печенки», вареные яйца, лук, хлеб

и соль. «Хлебушка-то побольше берите», — советовал наш дедушка Миша, изобретатель-самоучка, покуривая на скамеечке у палисадника свою самокрутку «козью ножку», от которой его правый буденовский ус был коричневым, а указательный и средний пальцы правой руки — темно-коричневыми. «Идешь на день — хлеба на неделю бери, — поучал нас дедка. — Хлебушко ведь сам ходит, его нести не надо!»

А идти надо было вверх по нашей речке Мулянке мимо нашего обрыва под Верхним мостом, по которому ходили пешеходы, ездили машины и «знатный трехвагонный трамвай № 2» до горы Коршун. Дорогу мы хорошо знали, потому что зимой мой отец, крестный Сашки-брата, в выходные водил нас туда кататься на лыжах. Созывал всех пацанов нашей Замуляновской: братьев Симоновых, братьев Келей, братьев Кусакиных, братьев Кошечевых, братьев Гузеевых, братьев Жихаревых, Кольку-дурака с братом Кешкой-цыганом, Кольку Казакова, Кольку Шумарина, Лешку Нагибина, Вовку Кофтуна, меня и Сашку-брата. Выстраивал всех по росту и по возрасту — старшие впереди, младшие сзади. «И чтоб не отставать!» — командовал отец, становясь впереди колонны, и на самодельных деревянных лыжах с сыромятными ремнями мы отправлялись в зимний лес с белыми пушистыми шапками на елках, прямо на гору Коршун, кататься по змейкам.

Так вот, с этой горы было хорошо видно извилистое русло нашей речки Мулянки, которое под горой изгибалось большой подковою — это и был луг, на который летом выгоняли табун колхозных лошадей пастись по ночам. Туда мы и шли в ночное с Колькой-дураком и Сашкой-братом охранять лошадей от волков. Вещмешок был тяжелым, поэтому мы несли его по очереди, считая до ста. Колька-дурак считать не умел, а Сашка-брат умел, но стеснялся того, что заикается. Считал за всех я, а Колька-дурак ругался, что я медленно считаю, когда он несет, и что он нас больше в ночное не возьмет. Тогда

мы с Сашкой-братом стали тащить вещмешок сами и сильно умотались, пока дошли до луга, горюя по пути, что зимой на лыжах идти легче.

Еще издали увидели мы лошадей, пасущихся на лугу, и слышали их ржание и фырканье. Луг огибала наша речка Мулянка крутым, обрывистым берегом, и только ближе к нам этот берег становился низким, и сюда пригоняли лошадей на водопой.

Слева от луга красовалась гора Коршун, по змейкам которой мы и катались зимой на лыжах, а в конце седьмой змейки находилась пещера, а у нас в ней был штаб, когда мы играли здесь летом в войну с немцами. В войну мы играть любили. Правда, у нас не было настоящих автоматов и гранат, и никто не хотел быть немцем, или фрицем, так мы их еще называли — немцев больно били, когда брали в плен, хоть и понарошку. А потом их расстреливали под Коршуном, над обрывом, и они должны были по-настоящему падать под обрыв, а это высоко, потому и опять больно. Вообще немцев мы ненавидели люто, потому что они напали на нас 22 июня ровно в четыре часа утра, когда мой дедушка, изобретатель-самоучка, вставал и шел на службу. Напали вероломно, без предупреждения, и убили многих, кого знала моя бабушка, на нашей Замуляновской улице. Еще немцы мучили всех и пытали коммунистов, комсомольцев и пионеров, стреляли в лесах партизан, а у всего советского народа пили кровь по-настоящему. Мы даже недолюбливали братьев Келей за то, что взрослые говорили, будто они тоже немцы, но поволжские, сосланные к нам на Урал, а еще у них отец был начальником. «А начальников-то у нас на Руси исторически не переносят, потому как они все иноземцы, с варягов начиная, ну а без начальников, как слепые котята, не знают, куда сунуться — ни украсть, ни покараулить. Вот же народ — добрый, да глупый», — говорил мой дедушка, изобретатель-самоучка.

Переглянулись мы с Сашкой-братом, по глазам вижу, что и ему захотелось поиграть в войну-то, как Коршун увидел, да нельзя — в ночное идем, лошадей от волков охранять надо.

Подошли к водопою, вброд по перекату перешли Мулянку, и оказались на лугу, сильно потоптанном копытами. Вещмешок уже тащили по земле с Сашкой-братом. Дядя Котя — задумчивый дядька с кучерявой головой и шрамом на левой щеке, встретил нас без улыбки, но приветливо. «Вон, под телегу тащите», — сказал он нам, посмотрев на вещмешок. «Перекурите, и на Коршун за дровами, — ночь холодная будет», — проговорил он, глядя куда-то в синее небо, будто гадал на погоду. Поскольку мы с Сашкой-братом тогда еще и не пробовали курить, а Колька-дурак дядьки боялся, пошли сразу за дровами. Вообще Колька-дурак вроде и не был трусом, но боялся всех, кто говорил по-цыгански, а особенно — отца своего, дядю Васю-кузнеца, брата Кешку-цыгана, дядю Котю-коновода, потому что ему кто-то сказал, что если он не будет слушаться, мужчины соберут табор и уйдут по свету золото искать, а его бросят здесь. Мы с Сашкой-братом сомневались в этом, а моя бабушка сказала, что цыгане своих не бросают, но могут поругать по-цыгански, если провинится, и возьмут с собой. Но Колька-дурак все равно боялся всех, и ловил испуганными глазами каждое слово, сказанное по-цыгански дядей Васей-кузнецом, Кешкой-цыганом и дядей Котей-коноводом.

Дров мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком натаскали много, как нам казалось, старались, а вот дяде Коте-коноводу, видимо, так не показалось. Он опять посмотрел в небо, взял топор, сел на своего коня или лошадь, которая гуляла поблизости с уздечкой и под седлом, чтобы объезжать табун, свистнул своего пса Быстрого диковинной породы, такого же лохматого, как дядя Котя, но очень веселого, и через перекат поскакал в сторону горы Коршун. Очень скоро дядя Котя вернулся с огромной сухой елкой, ведя своего коня или лошадь в поводу под

уздцы, чтобы ей было легче тащить эту волокушу.

Развели костер, хотя было еще светло. «Летом поздно темнеет, — для того, чтобы трудовой люд жизнь увидел, а то все на работе да на работе», — говорила мне бабушка. Костер жгли, чтобы варить уху. Мы с Сашкой-братом быстро натаскали под обрывом голавлей, заодно и почистили картошку, а когда костер прогорит до углей, туда бросим картошку в мундирах. Колхозный табун лошадей вел себя смирно, потому что волков не было поблизости, некоторые коняги прилегли набок, а остальные щипали траву, фыркая и топчя копытами луг. «Авэн вечерить», — позвал Дядя Котя. Кроме нас с Сашкой-братом и Колькой-дураком к костру подошел, кряхтя и охая, какой-то старичок, мы его раньше не видели. Звали его Чубай, и был он ветеринаром, врачом, значит, всех зверей, как доктор Айболит. Одна кобыла должна была разродиться жеребенком, вот дядя Котя и позвал Айболита — так, на всякий случай. Дядя Котя уважал Чубая за знания и любовь к лошадям. Присев на пенек, он внимательно посмотрел на нас и, улыбнувшись, сказал: «Ну, здравствуйте, молодые люди, меня зовут Платон Антонович Чубай, а вас как зовут?» «Я — Толька, это — мой брат Сашка, а это — наш Колька-дурак», ответил я почему-то за всех. «Значит, Анатолий, Александр и Николай. Ну, будем знакомы», — как-то ласково сказал Чубай и протянул нам руку, которую, переглядываясь и даже ухмыляясь, мы пожали по очереди. «Я служу ветеринаром в колхозе имени Ильича под председательством Ольгина Михаила Ивановича». «Это же мой другой дедка Миша», — подумал я и сказал: «Это же мой дедка!» «Я знаю это, молодой человек, я и на свадьбе Ваших родителей гулял, мамы Вашей Тамары Михайловны и отца Сергея Михайловича. Замечательная свадьба была — с тройками, с ряжеными — три дня гуляли. Как здоровье Михаила Ивановича и Елизаветы Ивановны?» «Так он, этот Чубай, и бабушку мою с дедкой, изобретателем-само-

учкой знает, что ли?» — опять подумал я, а Чубай уже и отвел: «Да, знаю я и бабушку Вашу, и дедушку». И, поглядев на Сашку-брата, добавил: «И Федора Михайловича, и Таисию Ивановну, родителей Ваших, молодой человек, тоже знаю. Ну, так как же здоровье-то у бабушки Вашей и дедушки?» «Нормально», — ответил я и почему-то встал. «Да Вы сидите, сидите, Анатолий», — опять улыбнувшись, запротестовал Чубай. Меня до этого вечера никто ни разу в жизни не называл на «Вы», и я мигом присел, но снова встал. «Ну, раз уж встали, бегите, наберите в котелок водицы, пожалуйста, — чай будем готовить». И я помчался за водой. По дороге к обрыву, перебирая в голове все услышанное от Чубая: надо же, и служит как мой дедка-изобретатель, а не работает как все, и зверей лечит как доктор Айболит, и знает всех наших, и здорoveется по-нашему, за руку, а вот называет всех на «Вы» — как-то не по-нашему». С такими мыслями я спрыгнул с обрыва на что-то живое и скользкое. «Змея!» — мелькнуло у меня в голове, и я так испугался, что чуть обратно на обрыв не запрыгнул, и котелок уронил. Но, приглядевшись, я увидел большую рыбу — это был налим. Мы с Сашкой-братом налимов сами не ловили, но видеть — видели, когда наш дедка, изобретатель-самоучка рыбу сакал огромным сакон на нашей Мулянке, в заводинах, а мы с Сашкой-братом таскали ведро с рыбой этой. «Налим оттого такой жирный, — пояснял нам дедка, — что вылезает по ночам на берег, чтобы поесть». Мы тогда с Сашкой-братом не поверили дедке. А теперь я собственными глазами видел в грязи большого налима, помятого моими собственными ногами — вот тебе на! Схватив налима под жабры и кое-как выбравшись из-под обрыва, я помчался к костру с радостным криком: «Я налима поймал!». Подбежав к костру, где сидела вся наша компания, принялся громко рассказывать, что я поймал налима на берегу, куда он вылез поесть, а я на него вспрыгнул и, подумав, что это змея, сильно

напугался и чуть обратно на обрыв не запрыгнул, но потом пригляделся и понял, что это рыба налим, которая и вправду выползает на берег ночью, чтобы поесть, как говорил наш дедка, изобретатель-самоучка. Но тут Чубай-Айболит со словами «Вам сильно повезло, Анатолий», начал нам рассказывать, что это народное поверье, будто налим выползает на берег за едой, и налим — это вовсе не амфибия, как какая-нибудь лягушка или тритон — те и вправду могут дышать воздухом и жить под водой. Налим же — обычная рыба, живет всегда в воде и дышит жабрами, но он любит тепло, особенно в период икремета, а потому предпочитает жить в норках, которые вымывает себе хвостом на мелководье у берега. Так что, Анатолий, Вам и вправду очень повезло, скорее всего, вы спрыгнули прямоком на его прибрежную норку», — закончил Чубай-Айболит. Тут уже я не поверил ему: «А нам с Сашкой-братом дедка говорил, что налимы выползают по ночам на берег, чтобы поесть». Почему-то я даже обиделся. «Ваш дедушка Михайло Иванович — очень редкий человек и любит пошутить. Он много читает журналов и наверняка знает историю про налимов, но ему это неинтересно, а интересно что-то необычное, сказочное, и он очень хочет, чтобы и Вам было интересно», — проговорил Чубай-Айболит с ласковой улыбкой, глядя на огонь. «Вот другой Ваш дедушка, как вы говорите, Михаил Иванович — председатель, под чьим руководством я имею честь служить, он и правда другой». И моя бабушка говорила, что мой дедка-мельник совсем другой: «Тот ученый, чертежи рисует, а потом по тем чертежам мужики пруд роют, плотину ставят. Мельницу строят из бревен и все по чертежам, потом колеса с лопастями прилаживают, а когда заслонку поднимают, вода эти колеса крутит и мелет муку, из которой после хлеб пекут, блины стряпают, шанежки и пирожки всякие. А каждый десятый мешок мельнику остается. А еще твой другой дедка как-во прилачился молоть на мельницах-то своих — больно слад-

кое, какаво-то. Съездит в город, купит там мешок коричневых зерен — «кофе» называется, перемелет, и вся округа к нему за той какавой идет, хвалят Иваныча-мельника, а он знай себе посмеивается, читая всякие книжки на крыльечке. Он и каналы оросительные прокопал с мужиками на покосах, травы-то там вон какие тучные. Вот председателем-то и выбрали, а потом в тюрьму посадили. Райком партии сказал, что он не оправдал доверия партии и народа, и сослали все семейство-то его в Ныр-роб, где Макар телят не пасет.

Что же это за доверие такое неоправданное? Сослали Михаил Иваныча с семьей, разрушили весь колхоз за два года, а потом снова позвали — восстанавливать, мол, опять доверяем. Восстановил. Вот опять и мельница крутится, и покосы хороши, и лошадей табун завел, лошадок-то он любит». Все это рассказывала мне вместо сказок моя бабушка, и глаза платочком вытирала: «Жалко ведь, люди трудолюбивые, честные, хозяйственные, а их в тюрьму на страдание — доверие какое-то не оправдали... Басурмане, да и только, прости Господи».

Костер прогорел, и можно было засыпать в угли картошку. Мы с Сашкой-братом притащили из-под телеги свой вещмешок и высыпали из него картошку прямиком в угли, потом подобрали все угли с боков в одну кучу и стали ждать, когда «печенки» поспеют. «А я тоже слышал, что налимьы выползают на берег и едят всякую падаль», — негромко произнес дядя Котя. Шрам на его лице будто раскрылся от огня. «Поэтому я налимов не ем, а монголы рыбу вообще не едят, а едят конину, потому я монголов не люблю...»

Над нашей речкой Мулянкой поднимался туман, как белая пушистая вата, которую бабушка укладывала нам под новогоднюю елку. Над обрывом вспыхивали светлячки, как чьи-то глазки, фыркали лошади, а в небе загорелась луна серебряным серпом. «Если к этому серпу приставить палочку, получится буква «Р», — сказал дядя Котя, глядя, как и Чубай-Айболит,

на костер. — Растет, значит, луна-то молодая, поэтому цыгане ей деньги показывают в это время, чтобы тоже росли, а когда луна полная или старая, как буква «С», мы ей деньги не показываем, прячем от греха подальше. «Эх, Костя, Костя, предрассудки все это, поверья, но красивые», — отозвался негромко Чубай-Айболит. «Поверья, предрассудки... Цыганам не на кого больше надеяться как на Бога, традиции и предрассудки, как Вы говорите, Платон Антоныч. Да и русским, наверное, тоже», — ответил Чубаю-Айболиту дядя Котя.

Тут Колька-дурак попросил дядю Котю: «А можно Тольке с Сашкой покататься на лошади?» Дядя Котя молча встал и привел лошадь по кличке Красава. «Катайтесь, — сказал он, — она смиренная», — и ласково посмотрел на Красаву. Лошадка была без уздечки, но очень послушная. Стоило Сашке-брату забраться на нее с моей помощью и сказать «н-н-ну», как она не спеша пошла, а Сашка-брат, счастливо улыбаясь, поехал на ней, держась за густую гриву руками. Потом настала и моя очередь. Я уже с помощью Сашки-брата взобрался на Красаву и хотел сказать «Ну, поехали», как Колька-дурак со своим безразличным видом вдруг захохотал, схватил головешку из костра и сунул ее Красаве под хвост. Красава громко заржала, встала на дыбы и бешено рванула к обрыву, а я, уцепившись за гриву руками и обвив ее теплую шею ногами, мчался на ней с незабываемым ужасом. Тогда дядя Котя-коновод запрыгнул на свою лошадь или коня, крикнул что-то Кольке по-цыгански и помчался за мной. Уже перед самым обрывом, к которому Красава, хрипя и дрожа всем телом, неслась в ночи, дядя Котя догнал нас и стал отжимать Красаву от берега, не переставая что-то говорить по-цыгански; видно, она понимала его, постепенно стала снижать ход, и остановилась. Я слетел с лошади как снег с крыши, и вот тут по-настоящему испугался. Усевшись прямо на луг и, дыша как пес дяди Коти Быстрый, бежавший за нами, заревел в голос.

Колька-дурак забрался под телегу, где лежал наш опустевший вещмешок, и больше не вылезал оттуда до утра, даже когда мы его звали есть печеную в углях картошку, которую он охотно уплетал, когда мы были на рыбалке. И однажды потом, когда мы были на озере Дикое, он одну такую картошку в мундире прямо из костра затолкал Сашке-брату за воротник и раздавил. Сашка-брат с выпученными глазами бросился в озеро, а после перестал заикаться, но стал говорить медленно, будто мучительно вспоминал тот случай, за что его уже в школе прозвали Залямой. Так Колька-дурак вылечил Сашку-брата от заикания.

Утром дядя Котя проводил нас до переката, попросил передать привет бабе Лизе, дедушке, моему отцу и дяде Феде, отцу Сашки-брата. И посоветовал не пугать их страшными рассказами, а то больше не отпустят в ночное.

Невыспавшиеся и искусанные комарами, мы возвратились домой. Бабушка накормила нас шаньгами с молоком. Колька-дурак отправился восвояси, а мы с Сашкой-братом забрались на сеновал, где сразу и уснули, обнявшись, вдыхая запах ароматного сена.

Марчуги. Сентябрь 2013 г.

ЩУРЕНОК

Сидим мы опять с Сашкой-братом на скамеечке у палисадника, в котором дедка наш, изобретатель-самоучка, табак выращивал, называемый «самосад», и ждем его с работы. А дедки нет и нет. «Наверное, опять у них там аврал какой-нибудь случился, у них эти авралы как начались в революцию ихнюю, так и не прекращаются, Боже милостивый», — сказала бабушка наша, выйдя на крыльцо с Т-образной палкой. «Бегите вон на речку, поиграйте, — если аврал, то не видать вам ни рыбалки в Согре, ни деда вашего», — только проговорила бабушка, а дедка тут как тут. «Аврал случился, внучата, — говорит, — но небольшой — быстро управились, а вы, я вижу, заждались?» — посмотрев на нас и улыбнувшись в буденовские усы свои, сказал дед. А мы с Сашкой-братом и правда заждались. Уже второй раз у нас с дедкой рыбалка срывалась. Первый раз сорвалась из-за погоды. Вот также мы сидели на лавочке, а дедка пришел и говорит: «Не получится рыбалка, внучки, дождь пойдет в четыре утра, я его ранами чую, которые получил, когда Колчака воевал на нашем муляновском мосту». Мы эту историю уже знали с Сашкой-братом, нам ее дедка часто рассказывал выпимши. Тогда Колчак шел Пермь занимать, а наш дед бомбу изобрел и с другими ребятами с нашей Замуляновской, с его товарищами, хотел этой бомбой мост взорвать — по поручению штаба Красной Армии, хоть в армии дедка и не служил, а сочувствовал рабочему классу и трудовому крестьянству. Он тогда уже служил на станции Пермь вторая, а в армию с железной дороги не брали.

Это еще до войны с немцами было, когда дедка наш был молодым. Так вот, он с товарищами заложил бомбу по заданию штаба, чтобы не пропустить Колчака в город. Сам Колчак ехал на белогвардейской машине, а справа и слева охрана его скакала на конях с ружьями и шашками наголо. За Колча-

ком орловские скакуны тянули пушки и снаряды к ним, а за ними шел духовой оркестр и играл «Боже, царя храни». Вот их всех и должен был взорвать наш дедушка, изобретатель-самоучка. Он сидел в засаде на мельнице моего другого деда Миши-мельника и ждал, когда Колчак с охраной, пушками и оркестром зайдут на мост, чтобы соединить провода, которые тянулись к бомбе. И когда они заехали на наш мост, дедушка соединил провода, но взрыва не было. Тогда дедушка побежал к мосту проверить провода, его заметил Колчак и стал стрелять в него из пистолета, а его охранники положили шашки в ножны, сняли свои ружья и тоже давай палить в нашего деду, но он, как после говорили, бежал, будто заговоренный, и пули его не брали. Тогда беляки развернули пушку и стали ее заряжать снарядами, но Колчак взял у кого-то из охранников ружье-винтовку, прицелился и два раза выстрелил в дедушку. Он упал в нашу речку Мулянку, истекая кровью, и все подумали — пал смертью храбрых... Но наш дедушка из последних сил набрал побольше воздуха и нырнул под мост, под тот самый мост, под которым меня на льдине должно было утащить в Каму, да Сашка-брат спас. Ну и вот. Под мостом наш дедка опять набрал воздуха и снова нырнул, проплыв под водою весь залив, чтобы Колчак с охраной его не убили. А как вынырнул, так сразу и прогремел взрыв, который в щепки разнес наш мост, он тогда был деревянный, и все охранники, пушки, оркестр повалились в воду, один Колчак остался на берегу целехонек, стоял и топал ногами, крича: «Я вам покажу мосты взрывать, голодранцы!» Но его никто не слышал, потому что все оглохли от взрыва. Потом нашего дедушку, изобретателя-самоучку кто-то утащил через огороды в баню, и больше он ничего не помнил...

А насчет дождя дед был прав. Мы с Сашкой-братом встали в четыре утра проверить, не врут ли дедкины раны, а на улице шел проливной дождь. На этот раз дед распорядился, чтобы

мы собирали вещмешок и готовились к рыбалке, а сам пошел ужинать. Встали мы опять в четыре утра, бабушка разбудила. Смотрим, дед сидит за кухонным столом, чем-то завтракает и читает свой любимый журнал, который ему приносит раз в месяц почтальон — дядя Ваня безрукий, и они говорят о науке. Посмотрел дед на нас с Сашкой, ухмыльнулся в буденовские усы и говорит: «Все проспите, сорванцы. Я тут новую снасть изобрел, перемет называется, сегодня испытаем».

С нашим дедкой, изобретателем-самоучкой, было всегда интересно, он вечно что-то изобретал, поэтому мы так ждали его редкие выходные. На рыбалку дед принципиально ходил пешком: «Подумаешь, какие-то пятнадцать километров, я вон каждый день на службу хожу — десять туда, десять обратно, это полезно, и товарищ Ленин в тюрьме по десять километров наматывал взад-вперед по камере, здоровее будем, внучата, нас все гнут, а мы крепчаем. Закалка для организма — это главное, внучки мои несмышленные», — вдохновил нас дед, и мы пошли в Согру. Даже потом, когда отец купил мотоцикл ИЖ-49 с коляской, дедка всегда ходил пешком. «Земля-то радуется, когда мы по ней пешочком идем, а не на драндулетах этих; идешь пешочком и почесываешь ей бока подошвами, а сама она почесаться не может, верно ведь», — молвил наш дедушка, изобретатель-самоучка, весело ухмыляясь в буденовские усы. И вот идем мы в Согру по шоссе, которое ведет в аэропорт Савино и дальше, в Болгары и в Усть-Качку, идем мимо ремзавода до деревни Ванюки, а там направо. Никого не видно, только первые петухи кукарекают, да ночная птица кличет зарю. Объясняет нам дедка по дороге, как перемет ставить будем, а нас с Сашкой-братом что-то ничего не радует, спать охота. Наконец прибрали к озеру Чупино, к нашему шалашу. А озеро гладкое, как зеркало, не шелохнется, и солнце встает из-за Камы, как костер из сухой пихты пылает, только не трещит. «Ладно, — говорит дедушка, — полезайте-ка в шалаш

и отдохните с дороги, а я пока перемет налажу, потом подыму вас, да за дело». Мы с Сашкой-братом заползли в шалаш, он посмотрел на меня, и, безразлично заикаясь, сказал: «Т-Т-Толька, на в-в-великах-то л-л-лучше было бы ехать». И мы рухнули как убитые на нары.

Видимо, дедка пожалел нас с Сашкой-братом, потому что не поднял, как обещал, после того, как разберет изобретенный им перемет. А перемет этот состоял из длинной капроновой веревки, к которой на поводках привязывалось много крючков, а на эти крючки нанизывалась всякая наживка: червячки, опарыши, мухи, кузнечики, короеды — вообще все, на что клюет рыба. Эту снасть нужно было растянуть через все озеро Чупино, не запутавшись, а после — ездить на плоту туда-сюда и снимать рыбку! Вот такое изобретение. Перед тем, как встать на плот и плыть устанавливать перемет, длинным шестом отталкиваясь от дна, наш дед, изобретатель-самоучка достал спиннинг, он его изобрел раньше, и пару раз закинул блесну, которую смастерил из столовой ложки, за что бабушка его поругала немного. Вытащив со второго заброса щуренка, наш дедка успокоился: «Работает!» Рыба его не интересовала, его интересовало то, как работает изобретение. Дедушка сложил спиннинг в чехол, сорвал большой лист лопуха и положил на него пойманного щуренка в нашем шалаше: «Вот внучата-то обрадуются, когда проснутся!» — пробормотал он про себя и, встав на плот, отчалил от берега растягивать перемет, предварительно привязав один конец капронового шнура к березе, росшей на берегу.

Проснулся я оттого, что лучик солнца светил мне прямо в глаза сквозь прутья нашего шалаша, и сразу увидел большую щуку, лежавшую рядом с нашими нарами. Осторожно встав, чтобы не разбудить Сашку-брата, я опустился на колени и рассматривал рыбу, рот которой был приоткрыт. И вдруг мне так захотелось затолкать палец в этот рот, что я и сделал не-

медленно. Когда я захотел достать палец обратно, то почувствовал страшную боль и заорал во все горло: «А-а-а!» Бедный мой Сашка-брат, который тогда еще заикался, зазаикался так, что невозможно было понять, что он хочет сказать. Он сидел на нарах с выпученными как у судака глазами и, открыв рот, издавал какие-то непонятные звуки. Наш дедушка, изобретатель-самоучка, в это время добрался до середины озера Чупино, разматывая свое изобретение — перемет. Когда он услышал мой оглушительный визг, то первая мысль, которая его посетила, как он сам потом говорил: «Змея-гадюка к пацанам в шалаш заползла и покусала, подлюка...» И прямо в плащ-палатке, которую мой папка привез в вещмешке с сухим пайком из армии, дедка наш бросился в воду и поплыл к берегу.

Когда он появился в шалаше, весь в водорослях, как леший из сказки, я все так же орал во все горло, а Сашка-брат сидел на нарах с выпученными глазами и беззвучно заикался. Сообразив в чем дело, дедка быстро схватил щуренка, который висел на моем окровавленном пальце, как на кукуане, нажал ему на жабры, и щуренок открыл большую зубастую пасть. Дед осторожно освободил мой палец из этой страшной ловушки и тихо сказал: «Ну, все, Толянка, все, этот щуренок больше не опасен. Видишь, он больше не злится на тебя, он спит». Потом дедка забинтовал мой палец какой-то тряпицей, сел на нары вместе со мной, прижал нас к себе и сказал: «Надо будет изобрести приспособление, чтобы щукам зубы разжимать. Назову его «зевник», чтобы ребята не зевали, когда щуку-то поймали».

Марчуги. 14 сентября 2013 г.

НА ТАНЦАХ

Мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком летом любили купаться у нашего обрыва на речке Мулянке и в заливе у моста, рядом с которым стояла старая мельница моего другого дедушки Миши-мельника. Любили мы ходить на рыбалку, по грибы, играть в «чижа» и в лапту, гонять на великах под рамой и на самокатах, которые мастерил мой Сашка-брат из неизвестно где взятых подшипников и досок. А еще мы любили ходить по субботам на танцы — не танцевать, конечно, а посмотреть. На верхнемуллинском футбольном поле против райкома партии и рядом с моим детским садом к лету выстроили большую танцплощадку из строганных, покрашенных в зеленый цвет досок. Площадка эта располагалась на краю футбольного поля под огромными тополями и называлась «обезьянник», так ее называли все — и взрослые, и дети, в общем — все, кроме моей бабушки Лизы. «Да как же можно место встречи и общения молодых людей называть обезьянником? Ведь они там танцуют, знакомятся, влюбляются... Да и музыка там хорошая звучит, я же слышу, — говорила она нам с Сашкой-братом, узнав, куда мы идем. — Такие места раньше назывались присутственными, там балы проводили, опять же с танцами — кавалеры приглашали дам, и, кланяясь, целовали им руки, писали им стихи, а тут обезьянник — стыд-то какой. Господи, прости и помилуй». Бабушка моя тогда ослепла и ничего не видела. Сидела в чулане, опершись на Т-образную палку, которую смастерил ей дед мой, изобретатель-самоучка, и молчала. Иногда, правда, когда я прибежал к ней в чулан и садился рядом, она начинала говорить, поглаживая меня по голове: «Толенька, ведро там стоит?» И указывала направление своей Т-образной палкой. «Там, бабушка», — отвечал я ей. «А полотенце там висит?» «Да, бабушка, там», — отвечал я снова и снова на все вопросы моей бабушки Лизы. Потом вопросов стало меньше, и ба-

бушка стала опять рассказывать мне сказки и разные истории из своей жизни, а я ей — свои истории рассказывал. Так мы и сидели с ней в чулане, пока не приходил Сашка-брат или дедка со службы, или отец с работы, или дядя Федя — отец Сашки-брата, или еще кто из соседей. Бабушка слышала хорошо, и всех узнавала по шагам, но никого не видела два с половиной года. Я тогда уже пошел во второй класс Верхнемуллинской школы № 1. Прозрела она также неожиданно, как и ослепла. Вышла из чулана и говорит: «Толенька, а ведь я тебя вижу. Как же ты вырос...» И мы вместе с бабушкой разревелись. Потом прибежал Сашка-брат, потом его сестры Галка и Людка, потом тетя Тася — мать Сашки-брата, потом пришел дедка со службы, отец с работы, Дядя Федя — отец Сашки-брата, потом приехали из Гамова тетя Шура с дядей Колей Калининым — тоже фронтовиком, который был в плену у немцев, а потом сидел в тюрьме у наших. Тетя Шура была старшая дочь бабушки после дяди Феди, отца Сашки-брата. Потом приехала из Балатово тетя Люся — сестра тети Шуры, и моя крестная, с дядей Мишей и сыном Минькой. Потом прилетела откуда-то тетя Тася, тоже дочь бабушки, с дядей Колей Первухиным — фронтовиком и кавалером трех орденов Славы за войну и командиром Красной Армии. Он защищал Дом Павлова в Сталинграде, и на этом доме сейчас висит табличка с его именем. Дядя Коля был полковником и командовал полком где-то, откуда они срочно прилетели на военном самолете с дочерьми — Татьяной старшей и Томкой младшей, заносчивой девчонкой нашего возраста, но веселой и разговорчивой. «Ишь, какая горденькая ходит, нос кверху! Смотри, Томка, носом небо не проткни, сразу дождь пойдет», — говорил про нее мой дедушка, изобретатель-самоучка, глядя на Тамарку с улыбкой и подкручивая свои буденовские усы. Потом приехали на поезде тетя Нина с дядей Пашей и дочкой Маринкой, и привезли много фруктов. Тетя Нина была самой младшей дочкой моей бабушки, и очень походила на нее

и разговором с улыбкой, и ласковыми глазами. А дядя Паша тоже был фронтовиком и военным, он командовал каким-то военным округом. Больше у бабушки с дедушкой детей не было, раньше были, но умерли. Сын погиб на войне под Варшавой, его звали дядя Коля, он был младше дяди Феди — отца Сашки-брата, но старше моего отца. А дочь Мария, которая была младше отца, умерла в детстве от неизвестной болезни...

Потом пришли все соседи, а потом собрались и обе наши улицы Замуляновские — первая и вторая. И как говорил позже мой дедушка, изобретатель-самоучка, хохоча в свои прокуренные буденовские усы, «Вот так и случился праздник-то настоящий, неожиданный-негаданный!». Женщины со всех домов тащили разную еду, мужчины — разноцветные бутылки разных размеров. Жулан принес гитару с бантом на грифе, отец с дедкой достали баян и гармошку, соответственно, в честь праздничка. Кель поднял стакан и произнес тост за бабу Лизу и здравоохранение. Все выпили и зашумели. Праздник получился веселым. Когда все уже разошлись по домам, бабушка с тетей Тасей и другими моими тетями прибрались, вымыли посуду и полы, все расставили по местам, и тоже разошлись. Тогда бабушка, подойдя к иконе в красном углу, долго молилась, а потом тихо проговорила: «Здравоохранение тут не причем, на все воля Божья! Господи, помилуй и спаси нас, грешных». И мы легли спать.

А тогда, когда мы с Сашкой-братом любили ходить на танцы по субботам, бабушка еще не видела, но хорошо слышала звуки музыки, доносившиеся из-за нашей речки Мулянки с танцплощадки. Музыка она любила. «Обезьянником» называли танцплощадку дядьки-плотники, которые строили ее. Чтобы парни не лазали через ограду танцплощадки бесплатно, им приказали строить ограду выше, приколотив доски клеточкой. Они и выполнили приказ, а потом, усевшись неподалеку на травке футбольного поля «раздавить мерзавчика», и, посмо-

трев со стороны на то, что они построили, кто-то из дядей сказал: «Обезьянник какой-то а не танцплощадка». Так и появился в Верхних Муллах «обезьянник» прямо напротив райкома партии, в котором дядя Федя, Сашки-брата отец, работал кочегаром и получал паек.

Однажды, когда мы с Сашкой сидели на скамеечке у дедкиного палисадника и ждали Кольку-дурака, вышел на улицу из своего дома отец в темном костюме и в белой рубашке с откладным воротником. Он мне сам потом сказал: «Откладной воротник сейчас модно», откладывая мой воротничок на утреннике в детском саду. Так вот вышел отец, посмотрел на нас с Сашкой-братом веселыми глазами, подмигнул зачем-то и говорит: «Пойду на танцы в обезьянник, там Сашка Кужман на аккордеоне шпарит замечательно, послушаю, а может, и сам че сыграю, если попросят, да и вы сходили бы, сидеть-то скучно, небось, просто так». И ушел, а мы дождались Кольку-дурака и тоже пошли за ним на танцы в обезьянник. Пошли по проулку между Первой Замуляновской улицей и Второй на Шумаринскую горку, с которой зимой скатывались на санях прямо на лед нашей речки Мулянки, а весной, после ледохода, мой отец и дедка, изобретатель-самоучка, отец Сашки-брата, мой дядя Федя, Жулан, дядя Володя Жихарев — отец нашего друга Вовки Жихарева по прозвищу Дыдка, в общем, все мужчины наших Замуляновских сносили на берег Мулянки доски, топоры, молотки с гвоздями, кувалды, и мастерили переход через речку, стоя по пояс в холодной воде. А потом шли в специально истопленную по этому случаю русскую баню париться, а уже потом усаживались за выставленные на Шумаринской горке столы и обмывали переходы весело и допоздна.

Шумаринской горка называлась потому, что на ней стоял дом нашего друга Кольки Шумарина по прозвищу Шаман. Колька жил в этом доме с бабушкой Нюрой и мамкой Тоней, отца у Кольки-шамана не было, и когда я спросил у своей ба-

бушки в чулане, почему у Кольки-шамана нет отца, она, немного помолчав, ответила: «Так бывает, Толенька. А вот почему у нас на Замуляновской так много Николаев, ты знаешь?» Я не знал и сказал: «Нет». Тогда бабушка проговорила: «Эта память народная о невинно убиенном Государе Русском, убиенном вместе с детками и женой-царицей, и брошенных в старую шахту, здесь неподалеку, у нас, на Урале. А потом эту шахту залили соляной кислотой и засыпали известью. Только ты этого никому не говори, Толенька, но помни». И, подняв свои невидящие глаза к потолку, произнесла: «Господи, прости их, заблудших, ибо не ведают, что творят, и сохрани души невинно убиенных на веки вечные. Спаси-сохрани, спаси-сохрани, спаси-сохрани!». Перекрестилась три раза бабушка и присела на сундук, опершись на Т-образную палку свою. Посидев некоторое время молча, бабушка вдруг заговорила опять: «А ведь я видела один раз отца-то Колькиного, Тоня тогда совсем молодая была, красивая, волосы светлые, вся ладненькая, идет и светится. В райкоме комсомола она работала инструктором. А я тогда за Федю, дядю твоего, хлопотала в райкоме партии, а эти райкомы в одном здании и по сей день — партии выше, а комсомола ниже. Сижу в приемной, жду начальника, а он заходит, весь в шубе разодетый, в шапке меховой, с Тоней, мамкой дружка твоего Кольки Шумарина. И так он смотрел на Тоню, что я поняла — не выпустит он ее из своих когтей. А начальник посмотрел на меня и понял, что я поняла — смысленный, ирод, может, поэтому и взял Федю кочегаром в свой райком. Потом его перевели куда-то, а Тоня так и осталась на своей горке ждать этого ирода, и сейчас ждет, наверное, сохнет девка, увядает белый цветочек. Господи, как же тяжело-то ей, милой, пожалей ты уж ее, что ли, Господи. Только ты, Толенька, это тоже не рассказывай никому», — будто вспомнив, что я рядом, попросила бабушка. «Ладно, — ответил я, — слово дам, не продам». Это будто клятва у нас с Сашкой-братом и

Колькой-дураком была такая: «Клянусь, что никому не выдам, не продам даже под пытками...»

Так вот. Спускаемся мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком по Шумаринской горке на переходы через нашу речку Мулянку и слушаем музыку, которая будто с неба льется с танцплощадки «обезьянник». Вдруг Сашка-брат остановился и говорит медленно, он тогда уже перестал заикаться, его Колька-дурак вылечил: «Не пустят нас на танцы без билетов». А Колька-дурак ему отвечает: «А я через забор махну». «Ага, махнешь, там забор выше тополей», — отвечаю я ему. Стоим на переходах посреди речки и не знаем, что делать. Тут Колька-дурак нас опять выручил: «На тополь заберемся и будем смотреть сверху», — выкрикнул Колька и захохотал. Мы с Сашкой-братом переглянулись, зная, что когда Колька-дурак так хохочет, ничего хорошего не жди, но на танцы хочется сходить, и мы пошли дальше. Поднялись на пригорок, где стоял старый деревянный клуб, называемый Верхнемуллинский районный Дом культуры, в этом клубе мы смотрели кино зимой, когда была смена бабушки Кольки Шумарина. Перешли через дорогу рядом с райкомом партии, почти перебежали ее в каком-то волнении, и оказались на футбольном поле, на котором справа, под огромными тополями, стояла танцплощадка «обезьянник». Светилась, как большой корабль в сумраке, который мы раз видели с дедкой на Каме, и оттуда звучала патефонная музыка, оркестр еще не выходил. Мы с Сашкой-братом даже немного оробели, а Колька-дурак опять громко захохотал и сказал: «Авэн на тополя». И мы двинулись за ним, с опаской оглядываясь по сторонам. Подошли ближе, а там народищу, как у магазина в Балатово на Леонова, у которого нас Колька-дурак бросил с Сашкой-братом, когда мы камыши торговали. Народ стоял весь нарядный, улыбающийся, но разбит на кучки — там ванюковские стоят, там кондратовские, там савинские, там первомайские, там ремзаводовские, там еще какие-то. Наши мул-

линские стояли в центре. Их было больше всех, и они это чувствовали, «шишку держали» на танцах, то есть были главными. Среди муллинских мы заметили и своих замуляновских парней постарше, двое из которых, Колька Кусакин и Колька Казаков, подойдя к нам, сказали: «Если что, шухер какой — свистите». Наши старшие пацаны с Замуляновской хоть и гоняли нас, младших, как сидоровых коз, по улице, но другим в обиду не давали. И нам с Сашкой-братом стало поспокойнее, он даже заулыбался, поглядел на меня и сказал: «Наши!» А Кольке-дураку хоть бы хны — стоит, хохочет и во все стороны зырит. «Наши-ваши, Маши-Клаши, полезли на тополь поближе к обезьяннику, — говорит, а то места займут, вон сколько мелюзги голожопой шныряет». И точно, не одни мы пришли на танцы с тополей поглазеть. Подобрались к тополи поближе к входу, а там нижние ветки так высоко — не допрыгнешь, и тетki с красными повязками на руках — «бригадмилыци-дружинницы». Так Колька-дурак про них сказал. А эти тетki недобро смотрят на нас, подозрительно, ну мы и деру. Обошли «обезьянник» вокруг, и нашли подходящий тополь, который рос прямо над эстрадой. С него хорошо было видно, когда забрались, и сцену, и всю танцплощадку, и вход, в который уже пропускали контролеры разряженных парней и девок. Отца среди них не было. На сцену стали выходить музыканты, главным среди них был Сашка Кужман — это сразу было видно. С большим аккордеоном на плече, в цветной рубашке навывпуск, в узких брюках-дудочках и лакированных ботинках-лодочках, он шел высокий, с черной головой как у Кешки-цыгана, только не кудрявой, с прической на пробор. Это тоже мне папка говорил когда-то на утреннике в детском саду: «Давай-ка, брат, расчешу тебя на пробор, сейчас так модно». Достал гребешок и расчесал. Еще у Сашки Кужмана были большие блестящие часы и такая же блестящая цепочка на шее. «Золотая», — прокричал мне в ухо Колька-дурак и хохотал себе дальше. За гла-

варем Сашкой Кужманом шел дядька с серебряной трубой и улыбался во весь рот, хотя народ хлопал ладонями не ему, а все тому же Сашке Кужману. Потом вышел на сцену дядька с барабанными палочками и, подойдя к своим барабанам, двинул ими по тарелкам так громко и звонко, как я орал на озере Чупино, когда затолкал свой палец щуке в пасть. Народ принялся хлопать и ему. «Ударник!» — снова закричал мне в ухо Колька-дурак. Тут появился из оркестровки дядька с большущей гитарой и другой, с маленькой. Большую гитару дядька поставил стоймя на сцену, а маленькую другой дядька повесил на шею, и воткнул в нее какой-то шнурок, и гитара завизжала, отчего народ стал хлопать музыкантам еще громче. И тут вышел на сцену мой отец в своем темном костюме, в белой рубашке с откладным воротничком, и я так обрадовался, что закричал уже Сашке-брату в ухо: «Сашка, смотри, мой папка вышел на сцену — крестный твой!» Сашка-брат, закачав головой, закричал обратно мне: «Вот это да! Дядя Сережа на сцене! Вот это да!» Отец мой, крестный Сашки-брата, поднял правую руку и помахал, а потом подошел к Сашке Кужману, пожал ему руку и быстро спустился в зал и растворился в толпе, а я чуть не заревел и кричал: «Папка, ты куда! Не уходи, папка!» Но меня никто не слышал, потому что заиграл оркестр, и мы были далеко друг от друга. Колька-дурак хохотал по-прежнему. Оркестр сыграл какую-то музыку, и на сцену выпрыгнул еще какой-то дядька странного вида и начал что-то говорить нараспев, как Сашка-брат после того, как вылезился. И народ очень смеялся, а дядька все гримасничал, как говорила моя бабушка про Жулана, когда он на гитаре играл и пел, а бабушка еще видела: «Уж больно смешной наш Жулан-то, и мужик хороший, работающий, и поет хорошо. Ну зачем гримасничает? Потому ведь и с женами не везет». Наш Жулан — так его звала вся Замуляновская, и Первая, и Вторая, — женился не так давно во второй раз, и его все жалели, а жен его все ругали, кроме

моей бабушки: «Да сам смотри немножко, кого берешь-то... Жулан-Жулан! Взял бы себе из наших кого, а ему все культурные, городские нравятся», — качая головой, продолжала про Жулана Бабушка, — будьте так любезны, ну помилуйте, милейшая супруга моя, а не находите ли Вы, что это сентиментально, только и слышишь от него с огорода, когда он новую свою выгуливает там». А наш огород с жулановским соединяется, и даже забора нет, только тропиночка. «Вот сижу здесь, в чулане, и слушаю все эти глупости. Где он и слов-то таких набрался, в Муллах-то наших? Не желаете пройти в опочивальню, очаровательная моя супруга, я Вам туда кофея доставлю. Ну что это? Гримасничество одно сплошное или еще хуже, издевательство. А то начинает гитарой терзать молодых-то своих, романсы распевает, стоя на одном колене, а изба не топтана, холодно, не до романсов. То стихами увлечется, а воды наносить ключевой некому — мать, тетя Лукерья, померла ныне, а раньше хворая шибко была, царствие ей небесное...» — перекрестившись, говорила бабушка как бы сама с собой, опершись на Т-образную свою палку. «Если бы не гримасничал, ни одна бы от него не убежала, хоть бы он их на Северный полюс увез. А лучше взял бы из наших, замуляновских. Вот Тоню Шумарину, например. Таковую девку сгубил, ирод-то окаянный, жалко-то как, прости, Господи, помоги и помилуй». И бабушка опять крестилась. «Да и больной он маленько, Жулан-то наш. Все они больными воротились с войны-то, Феденька вон весь израненный. Дай Бог здоровья им!» А тетя Тася — мать Сашки-брата, рассказывала квартирантке своей Вальке Гамовской, что Жулан-то наш молодым совсем на фронт ушел, в Крыму воевал, и его там немного контузило, и он в госпитале там лежал и оттуда, с Крыма, привез себе жену — санитарку из того госпиталя, и гитару с бантом на грифе. Баба Лукерья — мать Жулана, еще жива была, свадьбу собрали, как могли, всей Замуляновской. Сережка вон, отец Толь-

кин, аж баян порвал, так старался. А санитарка та медовый месяц пожила и говорит: «Климат у вас не тот, холодно, и моря нет». И укатила к себе в Крым, где кипарисы да виноград растут, и море черное под солнышком плещется. А Жулан ее на вокзал отвез, проводил, значит, с любезностями, и деньги какие были отдал ей на дорогу, а сам вернулся домой, все струны на гитаре порвал и месяц на улицу не выходил. Потом струны новые поставил на гитару свою, другой бант на гриф повязал и отправился на ремзавод на работу устраиваться, где до сих пор и работает мастером. Ценят его там и уважают: он и в самодеятельности участвует там, и гири подымает в какой-то секции, и в профкоме культмассовый сектор возглавляет».

А мы с Сашкой-братом слушали все это, лежа на полатах у него дома, и рассматривали потолок. «Этось, ешь-ма, завлекала Тася Любку-то Гамовскую, ешь-ма, хотела на Жулане женить, ешь-ма, но его не проведешь, ешь-ма», — так отреагировал дядя Коля Кусакин, когда мы рассказали ему услышанное на полатах. «Не, Жулана не проведешь, ешь-ма», — продолжал дядя Коля, подкуривая от спички свою самокрутку, сидя рядом с нами на его крыльце и улыбаясь.

Ну вот. Мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком сидим на тополе на танцах и смотрим сверху на обезьянник — интересно. Перерыв уже был. «Антракт называется этот перерыв, — проговорил нараспев Сашка-брат, — так Людка, сестра моя, сказала, когда в уборную с подругами прибежала». «Вот ведь клоуны ярмарочные, танцплощадку построили, а сортир забыли, им бы только командовать да приказывать, а о людях подумать мозгов не хватает. Вот и бегают наш смущенно улыбающийся народ по кустикам вокруг всего футбольного поля — девочки направо, мальчики налево», — шутил мой отец по этому поводу, сидя рядом с моим дедкой, изобретателем-самоучкой, отцом своим. «Да уж, конфуз так конфуз вышел. И у райкома партии небось все бы кусты повиштопали, если бы

Федька, брат твой, из кочегарки не вышел да не пугнул их», — подтвердил мой дед, глядя на отца. Ну, этот разговор был потом, а сейчас мы сидели на тополе и глазели вниз. Музыканты опять появились на сцене в том же порядке. Сперва Сашка Кужман с аккордеоном на плече, потом дядька с серебряной трубой, потом ударник с барабанными палочками, потом дядька с большой гитарой, а за ним другой — с маленькой, а папки моего не было, хоть я ждал его больше всех. Заместо моего папки, крестного Сашки-брата, опять выпрыгнул тот же дядька странного вида и принялся гримасничать. Говорил он что-то непонятное, но все смеялись и хлопали в ладоши. И вот этот весельчак замолчал, и все замолчали, а он крутанулся вокруг себя как волчок, да так ловко и громко объявляет в микрофон: «Ку-ка-ра-ча». Обезьянник будто взорвался, как тот мост, который подорвал мой дедушка-изобретатель, когда Колчака воевал. Наш Колька-дурак даже с тополя свалился от испуга, прямо на целующуюся пару под нашим деревом, напугав их сильнее, чем сам напугался и, треснувшись об землю, Колька моментально, как ящерица, взобрался обратно и громко закричал мне в ухо, перестав хохотать: «Чего это они?» А я, и сам немного испугавшись, не знал — чего это они так завизжали и запрыгали от совершенно неизвестного мне, Сашке-брату и Кольке-дураку слова КУКАРАЧА. Но когда заиграл оркестр, тут уж я чуть не свалился с тополя. Так вдруг захотелось захлопать в ладоши, что дух захватило, но возможности не было, и я давай хохотать, как наш Колька-дурак, и дрыгать ногами, свисающими с ветки тополя, а на танцплощадке народ стал «двигать телом» — так мне потом сказал отец, когда объяснял, что такое кукарача, конферансье, контрабас, ансамбль, солист, отделение, инструменталка, оркестровка, джаз, буги-вуги, твист, импровизация, аранжировка — музыка. А пока мне отец объяснял все это, дедка мой, изобретатель-самоучка, сидел рядом и покуривал свою «козью ножку», а потом сказал: «Да, Се-

рега, видно, зря я тебя в техникум-то определил, технику тоже любить надо, тогда будет толк, а тебе надо было по музыке ходить». На что отец ответил: «По музыке ходить, батя, у блатных означает воровать, музыкой надо заниматься профессионально и любить, тут ты прав — любое дело надо любить по-настоящему, тогда и оно отвечает взаимностью». «Это верно... А вот про блатных ты загнул. По какой они музыке-то ходят? Парень в кепке и зуб золотой — вот и вся их музыка. А вот что блатной-то сделали всю страну — это тоже верно, ну да ничего, братцы, технический прогресс все выправит», — весело сказал дедка и, сплюнув на свою самокрутку, затоптал ее ногой. Я, конечно, и половины не понял из того, что объяснял мне отец, будто музыка — это всё. Это и журчание ручейка, и шум листьев на ветру, и пение птиц, и шелест трав. Но что музыка бывает разной, я уяснил. Одну музыку можно петь одному, как Жулан поёт, или вместе, как поёт вся наша Замуляновская на Девятое мая — хором, значит, а другую музыку можно играть, как дедка на гармошке, или отец на баяне, или тот же Жулан на гитаре. По одному или всем вместе — оркестром, значит, как тот оркестр, который мой дедка, изобретатель-самоучка взрывал на мосту, когда Колчака воевал, а они играли «Боже, Царя храни», или как Сашка Кужман играл со своим оркестром Кукарачу, от которой у меня дух захватило и хлопать в ладоши хотелось, но я не мог, потому что сидел на дереве и держался руками за ветки, дрыгая ногами и хохоча, как наш Колька-дурак. И так как я и половины не понял из того, что мне объяснял отец, то принялся донимать своими вопросами музыкального работника нашего детского сада, звали её Елизавета Ивановна, как и мою бабушку, и я её тоже очень любил, потому что Елизавета Ивановна играла на пианине. Это потом она научила меня говорить правильно — не на «пианине», а на «пианино» или на фортепиано. «А есть ещё прекрасный инструмент — рояль», — говорила она мне. Но любил я Елизавету Ивановну

не только за то, что она играла мне «на пианине», а больше за то, что когда всех укладывали спать в тихий час, она забирала меня из группы, и мы с ней гуляли на улице, если было тепло и не было дождя, или играла мне всякую музыку всё на том же фортепиано в большом зале, где проводились утренники и новогодние ёлки. Она, как и моя бабушка Лиза, рассказывала мне всегда интересные истории, после которых у меня было ещё больше вопросов. «А кто такой композитор?» — спросил я. «А почему Соловьёв — седой? А поэт Лебедев-Кумач — кумач? Он что, красный, как наш флаг?» И на все мои вопросы Елизавета Ивановна мне подробно отвечала и смеялась надо мной также весело, одними глазами, как и моя бабушка. И она тоже хотела усыновить меня, ещё раньше, чем учительница начальных классов Верхнемуллинской школы №1 Полина Ивановна, да бабушка ей не разрешила, когда она у неё об этом просила в чулане, а я все слышал из сеней через загородку. Елизавета Ивановна ушла, и я спросил бабушку, зачем она хотела меня усыновить, бабушка, помолчав, ответила: «Одиноко ей на земле-то милой, без любви, Лизоньке вашей».

Наш Колька-дурак каким-то образом предвидел события и знал, когда утекать подальше от места, где произойдут эти опасные события. Сидя на тополе над «обезьянником», он вдруг перестал хохотать, а начал канючить: это так моя бабушка говорила, когда я капризничал. Колька начал канючить, что пора слезать с тополя и мотать отсюда, но мы с Сашкой-братом ни в какую не хотели покидать наш тополь, с которого было видно и сцену, и всю танцевальную площадку.

У музыкантов был второй перерыв, и играл патефон, а народ, разошедшийся по всему футбольному полю, понемногу возвращался, значит, будет ещё что-то интересное. Мы ждали, а Колька канючил: «Валить надо, пацаны, пока трамваи ходят».

Из комнаты за сценой опять появились музыканты в том же порядке. Сашка Кужман с аккордеоном на плечах, дядька с тру-

бой, дядька с барабанными палочками, дядька с гитарой, которая поменьше, а большая гитара стояла на сцене, и к ней тоже вышел дядька — свояк нашего друга постарше, Лешки Нагибина, за ним вновь вышел на сцену мой отец, а потом выпрыгнул как черт из табакерки и начал гримасничать, как говорила моя бабушка про Жулана, дядька со штуковиной на проволоке и начал громко разговаривать. Народ устремился к «обезьяннику» со всех сторон. Сашка Кужман что-то наигрывал на своём аккордеоне и смотрел за ограду, и вдруг снял его и подошел к моему отцу, что-то сказал ему и, спрыгнув со сцены, вышел с танцплощадки, а отец вернулся в комнату за сценой и вышел оттуда с баяном. Меня переполняла необъяснимая бешеная радость. Я начал кричать: «Папка, я здесь, мы здесь, папка!» Но он меня не слышал, а о чем-то говорил с музыкантами. Поговорив, они разошлись по сцене и, как только начали играть, туда запрыгнул какой-то парень, отобрал у кривляки блестящую штуку и закричал в неё: «Шухер! Балатовские Сашку Кужмана мочат!» И все побежал из «обезьянника» наружу, толкая друг друга на выходе, а музыканты вместе с моей папкой побросали инструменты и полезли через забор прямо со сцены под нами. Те, кто уже выскочил из «обезьянника», бежали к забору моего детского садика, где стояли балатовские, покуривая в кулак, и визжала Светка, а Сашка Кужман лежал. Туда побежал и мой папка с музыкантами и, растолкав всех, они потащили Сашку Кужмана в райком партии, где мой дядя Федя, отец Сашки-брата, стоял на освещенном крыльце с каким-то дядькой. Балатовских стали прижимать к забору, но они, как-то спокойно растолкав всех, вышли на середину футбольного поля и встали. Они стояли и негромко разговаривали между собой — все поджарые, одинаково стриженные и одинаково одетые. Муллинские первыми двинулись на них, впереди шли наши замуляновские. Колька Казаков, Колька Кусакин, Вовка Жихарев и другие парни старше нас.

Балатовские стояли, ухмыляясь, и было видно, что они не боятся наших, а наши уже бежали на них молча, со сжатыми кулаками. Передний ряд балатовских как-то неожиданно бросился на наших и, быстро положив всех, вернулся на середину поля к своим, поглядывая по сторонам с той же ухмылкой. Тогда к муллинским вышли кондратовские на помощь, и наши, встав, снова пошли на Балатовских, опять молча, со сжатыми кулаками. Два ряда балатовских также неожиданно выскочили навстречу, но не смогли уложить всех как в первый раз. Тогда к муллинским и кондратовским вышли ремзаводовские и ванюковские. И тут балатовские уже всей шоблой принялись лупить всех, кто попадет под руку. Вот тогда и вышли первомайские, савинские, култаевские, гамовские и всем миром стали драться на стороне наших. Все футбольное поле заполнилось дерущимися. Балатовские как по команде достали из карманов плети и давай хлестать ими направо и налево, и кто-то из наших, закричав: «У них цепи!», кинулся к штакетнику забора вокруг моего детского сада, и забор моментально разобрали. Балатовские дрогнули, и их стали теснить с центра футбольного поля к райкому партии, в котором дядя Федя, отец Сашкибрата и мой отец, порвав цветную рубашку Сашки Кужмана и свои рубахи, пытались остановить кровь из раны в животе Сашки Кужмана, а дядька дежурный уже вызвал скорую помощь и милицию, но ни тех, ни тех долго не было. «Не спи, не спи, Сашка, лучше кричи, матом ругайся, проклинай кого хочешь, но только не спи, брат», — говорил Сашке Кужману дядя Федя, а Сашка Кужман ему в ответ: «Так не хочется ругаться и материться, дядя Федя, музыку бы послушать». И мой папка побежал домой за патефоном, который дядя Федя привёз с войны. А Светка ревела, сидя на ступеньках лестницы, идущей на второй этаж, и причитала: «Прости, Сашенька, прости». А Сашка Кужман ей в ответ, лёжа на диване: «Не реви, Света, мы с тобой ещё потанцуем, сейчас Серёжка патефон

принесёт». «Ещё натанцуетесь и налюбуетесь, и на свадьбе вашей плясать будем, дурачье вы эдакое! Только не спи, Сашка, не спи, брат, уже и скорая где-то едет, они быстро ездят с мигалками», — говорил дядя Федя, зажимая липкими тряпками рану в животе Сашки Кужмана.

А балатовские бились насмерть велосипедными цепями с ручками от унитазов, как мне потом пояснил отец. Они их, эти цепи, вынесли через проходные велосипедного завода, специально для того, чтобы драться, и ручки приделали, чтобы цепи из рук труднее было вырвать, и скручивать эти цепи было удобно, и в карманах прятать. А ещё у балатовских были заточки, замаскированные под авторучки, их потом по всему футбольному полю собирали милиционеры, и мы с Сашкой-братом искали, да не нашли. Так вот, такой заточкой кто-то из балатовских и ткнул в живот Сашку Кужмана, когда он хотел кому-то из них морду набить по-человечески за то, что тот фраер балатовский его Светку в кусты потащил. «Да уж, эта Светка сама кого хошь в кусты уволочет, ешь-ма», — говорил дядя Коля Кусакин через два дня после драки, сидя на своём крыльечке и покуривая самосад, который мы ему принесли с Сашкой — братом на пробу от дедки нашего, изобретателя. «Шаловливая больно, ешь-ма, специально к балатовским кадрилась, глазки строила, ешь-ма, чтобы Сашку Кужмана позлить, ешь-ма. Это мне Колька мой в больнице говорил, ешь-ма. А самосад хорош, так и передайте деду своему, ешь-ма».

А ещё отец мой говорил потом, что этих балатовских драться учат в специальных секциях, поэтому они и смелые такие. Только нам с Сашкой-братом они не показались смелыми, когда на них по-настоящему стали наступать наши, и они побежали мимо райкома партии, где громко играл патефон, к переходу через нашу речку Мулянку, где их и встретили отец Кольки Казакова — дядя Коля Казаков, отец Вовки Жихарева, Жулан, отец Вовки Гузеева, мой дед, изобретатель-самоучка,

и все мужики замуляновские, бежавшие на выручку своих. Тут балатовские остановились посредине переходов и давай прыгать в речку всем своим шалманом, и поплыли под Нижний мост, где стояла старая мельница другого моего деда-мельника, поплыли через залив за мостом, по которому плыл под водой и мой дедка, изобретатель-самоучка, раненный Колчаком, поплыли мимо Кондратого, а по обеим берегам шли молча, кто с дубиной, кто со штакетинами все ребята с «обезьянника», которых не увезли в больницу, и мужики с Кондратого, и мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком. А когда балатовские до Шпального, там к нам присоединились и шпальновские, прознавшие как-то про драку, тоже с дубьём и молча.

Балатовские поплыли в Каму, в которую меня чуть не унесло на льдине, да Сашка-брат спас. Мужики сошлись, о чем-то поговорили, а потом крикнули мужикам на другой стороне нашей Мулянки: «Топить не будем». Побросали в воду батоги и штакетины и группами стали расходиться по домам.

Сашку Кужмана не довели до Больничного городка всего две трамвайные остановки, умер он в скорой помощи возле остановки Леоново, напротив магазина, где мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком торговали камышами. Это Светка потом рассказывала сестрам Сашки-брата Гальке и Людке: «Просто уснул и всё», — говорила Светка, трясясь, но уже не плача. «Уснул и всё, уснул и всё», — повторяла она, а мы с Сашкой-братом смотрели на неё с полатей, и нам было страшно. И было жалко Сашку Кужмана, который просто уснул и всё. И было жалко Светку.

Танцы в «обезьяннике» больше не проводили. Бабушка говорила, что райком партии запретил. А может потому, что Сашку Кужмана некем было заменить. Дядя Витя, свояк Лёхи Нагибина, который играл на большой гитаре на танцах, приходил к моему папке и предлагал заменить Сашку, но отец отказался, сказав, что Сашку Кужмана заменить невозможно, он музы-

кант от Бога, а «я — самоучка, не знающий нот». А бабушка говорила мне, что папка отказался не из-за того, что нот не знает, а потому что очень любил Сашку Кужмана и даже ходил к родителям Сашки и просил продать его аккордеон на память, да те отказали.

А Светку потом забрали врачи и увезли в больницу для душевнобольных, потому что она ходила по улицам и всем говорила, что Сашка просто уснул, просто уснул. А бабушка моя сидела в чулане, опершись на Т-образную палку и плакала, причитая: «Господи Боже мой, за что же дитя наказал невинное, а не того, кто злодеяние-то совершил?» А я с того времени стал донимать отца вопросами о музыке ещё сильнее, на которые он отвечал подробно и терпеливо, с какой-то грустью в глазах: что большая гитара, стоящая на сцене вертикально — это контрабас — король оркестра, фундамент, на котором стоит весь оркестр, а маленькая гитара с верёвкой — это электрогитара со шнуром, которую втыкают в разъем усилителя звука, вот она и визжит, если её к колонкам близко поднесёшь; что блестящая штука, которую держит в руке ведущий — конферансье (тот самый, который гримасничал, как наш Жулан) — это микрофон, он тоже усиливает звук голоса, когда в него говорят или поют. Барабанщик, он же ударник, задаёт ритм оркестру, дядька с серебряной трубой — это солист оркестра, играет сольно разные мелодии, а оркестр ему аккомпанирует. А вот аккордеон, на котором великолепно играл Сашка Кужман, может всё — и сольно играть разные мелодии, и аккомпанировать, и ритм задавать... «Ну и хватит, Толяха, брат, — говорил отец, — тебе спать ложиться пора, да и мне завтра рано на работу». И я бежал к бабушке укладываться спать, и ещё долго во сне я видел Сашку Кужмана с аккордеоном, и весь оркестр на сцене «обезьянника», который играл прекрасную мелодию под названием «Кукарача».

г. Могилёв (Белоруссия). 30 сентября 2013 г.

КАРБИД

Однажды наш дедка, изобретатель-самоучка принес в ведре со станции Пермь Вторая, где он служил, белые камни разных размеров и форм. Мы с Сашкой-братом поджидали его, сидя на скамеечке у палисадника, и сразу заинтересовались — что это? Дедка присел к нам, закрутил «козью ножку» и рассказал, что это карбид, и принёс он его для каких-то огородных нужд и, благодаря удивительным свойствам этого карбида, можно показывать фокусы. Тут мы с Сашкой-братом заинтересовались ещё больше — какие такие фокусы? «А ну-ка, покажи, дедушка!» Дед посмотрел на нас, весело подмигнул и говорит мне: «Иди, Толянка, попроси-ка у бабушки банку, да набери в неё водицы наполовину». Я помчался, и через минуту банка уже стояла на нашей скамеечке. Дедка взял из ведра один камешек карбида и опустил аккуратно в банку с водой. И тут же произошло чудо — от камня пошли пузырьки, и вода в банке как будто закипела. Мы с Сашкой-братом аж закричали «Ура!» от удивления. А дедушка, проговорив, что это ещё не всё, достал спичечный коробок, зажёл спичку и поднёс её к банке. Вот тут уже случилось настоящее чудо: над банкой полыхнуло пламя. Вот так фокус! Как это вода могла гореть? И дедка рассказал, что из карбида, когда его бросаешь в воду, выделяется водород, который и горит сейчас. «Из такого вот водорода, — продолжал рассказывать наш дедушка, — американские империалисты сделали Водородную Бомбу, даже две: одну они сбросили на Хиросиму, а другую — на Нагасаки — это два города в Японии, в которых жили много людей, таких же, как вы, мальчишек и девчонок, дяденек и тётенок, бабушек и дедушек, а они их всех убили, сожгли дотла огнём тех бомб, а кто выжил, заболели смертельной лучевой болезнью, и умирают до сих пор». Мы с Сашкой — братом невольно отошли от банки, стоявшей на скамейке и усталились на неё с опаской.

Пузырьков от карбида, который растаял в воде, стало меньше, и огонь погас. А дедушка, помолчав, сказал, что он тоже изобрёл Водородную Бомбу, но в мирных целях — ею можно глушить рыбу, но это браконьерство, и он не скажет, как её делать, никому. От взрыва этой бомбы больше вреда речке, чем пользы людям. Когда Водородная Бомба взорвётся под водой, то большая рыба опускается на дно с разорванным брюхом, а всплывает только малька, из которой и ухи-то не сварить.

Нас с Сашкой-братом этот рассказ деда очень заинтересовал, и мы моментально вернулись к скамейке и стали упрашивать деда, чтобы он рассказал нам по секрету, как сделать эту Водородную Бомбу, которой можно глушить рыбу. Но дед наш, изобретатель-самоучка, наотрез отказался открывать нам эту тайну, пока однажды не пришёл со службы навеселе. Мы, как обычно, с Сашкой-братом сидели на нашей скамеечке и поджидали деда с работы, он и пришёл, как я уже сказал, навеселе. Присел к нам на скамью и говорит: «Хотите узнать, как сделать водородную бомбу, внучки?» Мы с Сашкой-братом аж подпрыгнули. «Очень хотим, дедушка!» — закричали мы так громко, что наш кот Мурзик, сидевший на нашей же скамеечке, забрался на забор от испуга. Дедка посмотрел на нас с улыбкой, хмыкнул в будёновские усы, прикурил самокрутку, выпустил клуб дыма и сказал: «Слушайте». Мы замерли. «Перво-наперво, глупыши мои, надо подготовить взрыватель — карбид, значит. Его надобно мелко наколоть, но не до порошка, потом надо найти пустую бутылку и налить в неё водицы наполовину, изладить пробку из ветки по размеру, чтоб она плотно входила в горлышко той самой бутылки, нарвать сухой травки и затолкать её всё в то же горлышко поверх воды, а уж потом засыпать аккуратно в горлышко подготовленный взрыватель — карбид, вбить плотно приготовленную пробку, и бомба готова!» Он опять выпустил клуб дыма, а мы с Сашкой-братом выдохнули одновременно от напряжения.

«Потом, — продолжал дедка, — подходите, медленно неся бомбу, к речке, встряхиваете бутылку с карбидом и сразу же кидаете её в яму поглубже — там вся рыба. В бутылке, которая тонет, погружаясь на дно ямы, карбид вступает в реакцию с водой и начинает вырабатываться водород, вот от него и происходит подводный взрыв, который и глушит рыбу, когда бутылка разорвётся. Рыбка всплывает, оглушенная, на поверхность, а вы её и ловите сачками, да в ведро, да в ведро. Вот так-то, внучки мои, несмышлёныши, только поклянитесь мне, что никому не откроете этой тайны! Скажите-ка оба: «Честное пионерское, что даже под пытками не выдадим дедкино изобретение». «Клянёмся!» — прокричали мы одновременно с Сашкой-братом, хотя и не были пионерами. Дедка обнял нас по очереди и отправился ужинать. «Пойду догоняться», — проговорил он, улыбаясь. «А вы бегите, да не шалите». И мы рванули с места и помчались к речке нашей Мулянке по дороге, обгоняя друг друга, и обсуждая, где взять бутылку, пробку, траву, потому как карбид у нас с Сашкой-братом уже был припрятан в нашем шалаше, в том самом месте, где речушка Пыж впадает в Мулянку. Сбежали с шумаринской горки на переходы и там встретили нашего друга Кольку-дурака, он сидел на переходах, свесив ноги, и от нечего делать швырял камешки в речку. Когда мы выпалили Кольке, что идём взрывать рыбу бомбой, он громко захохотал и сказал нам, что было бы лучше из Колчаковской пушки пострелять, которую можно вытащить из залива под Нижним мостом, который взорвал ваш дедка-изобретатель, когда этого Колчака воевал. И заржал ещё громче.

Мы с Сашкой-братом почему-то обиделись и пошли дальше к нашему шалашу, не оборачиваясь, а Колька-дурак, всё так же хохоча, поднялся и поплёлся за нами следом, не обращая внимания на нашу обиду. Перейдя переходами речку, мы свернули налево в густой ивняк к шалашу. Шалаш наш не было

видно ниоткуда, и добраться к нему можно было только по потаённой тропе среди густых кустов ивы, сплошь покрывающих левый берег нашей Мулянки. Как раз, где в неё и впадал Пыж возле ямы, в которой мы ловили на удочки, здесь же срезанные из ивы, большущих голавлей, краснопёрых окуней, щеклеек и других рыбёшек. Достался нам этот шалаш от старших ребят с нашей Замуляновской — Кольки Казакова (Казака), Кольки Кусакина (Кусаки), Вовки Жихарева (Дыдки), и других пацанов. В нём мы укрывались от непогоды, играли в разбойников, пиратов и просто жгли костёр для того, чтобы испечь печенки в мундирах и пожарить на веточках-трезубцах свежевыволвленную вкусную рыбу. В этом шалаше и хранился карбид, который мы потихоньку утащили из дедкиного ведра, чтобы показать фокусы другим ребятам. Колька-дурак, всё так же хохоча, пробрался за нами по тропе и уселся на бревно у костровища напротив шалаша. «Ну, показывайте свою бомбу, а то я уже устал ржать над вами — дураками», — заявил он и закурил бычок, спрятанный им в кармане рубашки. Мы переглянулись с Сашкой-братом, и я ответил: «Покажем, когда сделаем, а пока мы её будем делать, лезь в шалаш и сиди там, не подглядывай, мы слово дали дедке, честное пионерское, что никто не узнает у нас даже под пытками, как делать эту бомбу нужно». И Сашка-брат закивал головой. Колька-дурак расхохотался ещё громче, но в шалаш полез.

Бутылки на берегу было немало, но все с отбитыми горлышками, которые не принимали в приёмных пунктах стеклопосуды, а хорошие мы собирали и сдавали туда по 12 копеек за штуку, а потом шли в муллинскую столовую пировать. Столовка эта стояла недалеко от райкома партии, и моего детского садика, на углу проулка, по которому ездили только легковые машины и Газики, в тот же райком партии отчитываться — так мне говорила бабушка, когда водила в садик зимой или мы ходили с ней в продмаг. Пировали мы в этой столовке с раз-

махом. Брали первое, второе и третье — чай с коржиком, посыпанным песком, а потом еще, если оставались деньги, шли в продмаг и покупали там лимонад и конфеты — подушечки «Дунькина радость» по рубль десять, и с ними шли уже в шалаш продолжать пировать.

Значит, бутылку для бомбы мы нашли быстро, а вот с пробкой пришлось помаяться, подбирая прут ивы по диаметру горлышка.

Потом ещё была незадача — вбить пробку нужно с кожурой на ветке или нет? Мы этого не знали, а дедка не сказал. Решили делать пробку без коры. Аккуратно срезали её ножичком-складенцом моим, который подарил всё тот же дедка и мне, и Сашке-брату одинаковые, сказав, что ножички эти на рыбалке — незаменимая вещь, но вот Сашка свой дома оставил, а я взял. Как подогнали пробку, налили воды полбутылки, нарвали травы сухой тут же, у шалаша, на берегу, натолкали её в бутылку поверх воды. Вот только тогда и стали осторожно опускать на траву кусочки карбида. Потом забили потуже пробку из ивы, подошли к яме и позвали Кольку-дурака, который уж больно тихо сидел в шалаше — наверное, подглядывал за нами, да мы маскировались, и он ничего не увидел. «Колька, возьми сачки в шалаше и гребни сюда. сейчас будем бомбой рыбу глушить», — крикнул я. Колька-дурак показался было из шалаша, потом опять пропал и вылез оттуда уже с двумя сачками, которыми мы ловим пескарей на отмели или доставали подведенных к берегу голавлей, когда гнулись в дугу удочки из ивы — огромные иногда попадались голавли-то. Один сачок взял я, а другой остался у Кольки. Сашка-брат поднял бутылку — бомбу над головой, сильно взболтал её, и только хотел бросить в воду, как Колька-дурак, отшвырнув свой сачок, вырвал у Сашки-брата бутылку и побежал с ней от нас на пригорок, хохоча во всё горло. Сашка остолбенел, а я стал кричать так громко, как только мог: «Колька! Бросай бутылку,

она сейчас взорвётся!» Но Колька-дурак только ещё громче захохотал и стал неистово трясти бутылку — бомбу над головой. И! И произошёл не взрыв, а громкий хлопок. Бутылка с брызгами разлетелась во все стороны, а Колька-дурак что-то громко закричал по-цыгански, заревел и, скорчившись, упал на колени, прижимая к животу окровавленную руку. Сашка-брат первым очухался, побежал к Кольке, на ходу срывая с себя белую майку. Подбежав, он с трудом оторвал руку Кольки от живота и стал её своей майкой заматывать. Колька ревел в голос, и крупные слёзы лились по его лицу вместе с красной кровью из головы. Я тоже подбежал к ним и, стащив свою майку, попытался приложить её к Колькиной голове, но он так заверещал, что я отскочил в испуге. Потом снова подбежал и увидел среди слипшихся черных волос в красной крови торчащие в голове Колькиной большие осколки стекла от бутылки. Они были зеленоватого цвета с острыми краями. Кровь залила уже всё лицо Кольки и глаза. Тогда я стал кричать Кольке и Сашке-брату, что эти осколки нужно достать из головы, иначе кровь не остановится. Сашка-брат схватил Кольку за плечи и закричал мне: «Толька, брат! Доставай, я его подержу!» Но Колька тут же отшвырнул его как котёнка. Тогда я стал орать Кольке, что если я не достану у него из головы эти осколки, и он придет домой, то все цыгане подумают, что это у него рога выросли, как у того Мадрыгалы, который съел всех цыган, их лошадей, и кибитки. И тогда цыгане выгонят его, Кольку, из табора. Колька оторопел и уставился на меня кровавыми глазами, продолжая реветь и кричать от боли. Сашка-брат тоже уставился на меня, и мы двинулись вместе на Кольку нашего, дурака. Он не сопротивлялся, а только завыл шибче, когда я осторожно стал доставать из его головы осколки. Потом мы положили на его голову мою майку, и кровь потихоньку унялась. Умыли Кольке лицо, умылись сами, и Сашка-брат тихо проговорил: «Толька, надо вести Кольку домой». И мы двинулись по тропе к переходам. Колька

уже ничему не противился, а только жалобно завывал от боли.

Перешли речку по переходам, поднялись на шумаринскую горку, прошли проулком между замуляновскими и, перейдя через шоссе, вышли к дому дяди Васи-цыгана, кузнеца с ремзавода. Тут Сашка-брат остановился и говорит Кольке-дураку: «Поклянись, что не скажешь никому, что мы бомбу дедкину взрывали!» Колька с мукой на лице сказал: «Слово дам — не продам». И ушёл, согнувшись, в калитку, а мы побежали домой. И спрятались на бабушкином чердаке.

Вечером пришёл Кешка-цыган, брат Кольки, к бабушкиному дому и крикнул: «Толька, Сашка! Авен на минуту, потолковать надо!» Мы с братом Сашкой слезли с чердака и вышли на улицу, где на нашей скамеечке у палисадника сидел Кешка. Он рассказал нам, что мамка увезла Кольку на нашем трёхвагонном трамвае в больницу на Больничный городок, что у него достали там много стёкол из головы, из руки и шеи, а раны зашили, и что отец их, придя с работы с ремзавода, ездил к какой-то цыганке за варом лечить раны, и Кольку не ругал, а только спросил, что случилось, но Колька молчал и ничего ему не сказал, и отец отпустил его в сарай спать, потому что он очень зевал. И там-то Колька и сказал по секрету Кешке, что был с нами на Мулянке в шалаше. Вот Кешка и пришёл узнать, что же случилось. Мы сказали ему, что Колька поскользнулся на берегу и упал на битое стекло. Тогда Кешка посмотрел на нас своими карими с поволокой большими глазами и, сказав «понятно», ушёл к себе.

Через три дня Колька появился на Замуляновской с перевязанной головой, как боец Красной Армии, и с подвязанной на красной ленте рукой, с бантом на плече, точь-в-точь как у Жулана на гитаре. Ленту эту ему дали сёстры, как сказал нам с гордостью Колька. И жизнь наша снова наладилась.

Марчуги. 21 июня 2014 г.

САПОЖКИ

Как-то поздней осенью, когда листья с деревьев уже облетели, и дожди прошли, и все ждали первого снега, особенно мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком, чтобы кататься с Шумаринской горки на санях и на фанерках, дядя Ваня, почтальон без руки, принёс нам вместе с журналом дедке нашему, избретателю-самоучке, и газетами, квитанцию на получение посылки от моей тётки Нины из Крыма, куда мужа её, дядю Пашу, перевели командовать гарнизоном. И мы с Сашкой-братом, дождавшись отца с работы, пошли на почту за ней. Идти надо было по переходам через нашу речку Мулянку, которая ещё не встала — не замёрзла, значит. Ну мы и шли втроем: папка впереди, а мы с Сашкой за ним. Поднялись по деревянному тротуару между клубом и райкомом партии к футбольному полю и пошли левее к почте, где выдавали посылки и бандероли по предъявлению квитанции и паспорта, которые были у моего отца, крестного Сашки-брата. Посылку отец получил, а нам не терпелось побыстрее заглянуть в неё, потому что там были фрукты с юга. Тётя Нина всегда присылала нам фрукты: яблоки, мандарины, груши, и ещё сушёный виноград, сладкий-пресладкий, а когда она приезжала, то привозила их в большом чемодане с углами.

Мы с Сашкой-братом стали просить отца открыть посылку прямо у почты, на скамеечке, но он ответил нам, что надо учиться терпению, взял посылку за верёвочки, которыми она была обвязана, и пошёл обратно, а мы за ним. Когда мы обогнали папку моего, потому что он шёл как-то медленно, я стал просить его идти побыстрее — очень уж не терпелось открыть посылку, но папка так и дошёл, не спеша до самого дома, насвистывая какую-то весёлую песенку и улыбаясь нам блестящей фиксой. Фикса эта была вовсе не золотая, как в песне пелось: «Парень в кепке и зуб золотой». Она была

сделана из металла рандоль, и вставил её папке какой-то зек, освободившийся из лагеря — так бабушка говорила, когда ругала папку: «Что же ты наделал, Серёжка! Ну ведь ты же образованный, техникум окончил, а туда же — здоровый зуб загубил и радуется, какую-то блестящую железку поставил, виданное ли дело! Господи, помилуй и спаси меня, грешную, и заодно сына моего!» Потом, правда, папка был у настоящего врача — стоматолога, когда зуб заболел, и тот ему фикса снял, а поставил золотую коронку на её место, а золото отец по страшному секрету купил у дяди Коти-цыгана, коновода, с которым мы в ночное ходили с Сашкой-братом и Колькой-дураком лошадей от волков охранять. И которого недавно посадили в тюрьму, но не за то, что он папке золото продал на коронку, а за то, что отхлестал кнутом какого-то дядьку, начальника, в райкоме партии. Потому что тот дядька сначала разрешил дяде Коте — коноводу держать коня или лошадь законно, в виде исключения, как цыгану, а потом сам же приказал отправить того коня или лошадь на живодерню, чтобы поднять показатели по сдаче мяса районом — так мне бабушка говорила, сидя в чулане на сундуке, опершись на свою Т-образную палку. А когда дядя Вася Харитонов, отец Кешки-цыгана, Кольки-дурака и родной брат дяди Коти, поехал искать правды в обком партии, со всем своим табором, показывая тамошнему начальнику разрешение держать лошадь или коня, выданное дяде Коте-коноводу, то там ему сказали, что эта лошадь или конь никакого отношения к делу не имеет, а уголовное дело, которое завели на вашего Котю, как вы изволили выразиться, касается дерзкого нападения на представителя власти и будет рассмотрено по всей строгости закона. Тогда дядя Вася послал этому начальнику все проклятия, какие только есть в цыганском языке, сказал своему табору: «Авэн отсюда», — и они ушли. На следующий день дядя Вася Харитонов дал команду своему табору собирать-

ся в дорогу, и на ремзавод, где работал кузнецом, не пошёл. Так вечером к ним приехал сам директор ремзавода Мурзин Владимир Мстиславович, на служебной машине ГАЗ-2121 и уговорил дядю Васю выйти на работу: «Посадят же тебя, Вася, или за бродяжничество, или за тунеядство, а как же ребяташки и другие цыгане без тебя останутся? Завтра выходи, Вася, на работу, а за Котю я переговорю с кем надо и в райкоме, и в суде, чтоб смягчили приговор — обещаю». Это всё мне Кешка-цыган рассказывал позже, а Колька-дурак, испуганный как никогда, сидел рядом и молчал. Дядя Вася вышел на работу, и все цыгане остались жить в Верхних Муллах в пригороде Перми...

Ну, это потом, а сейчас мой отец открыл стамеской посылку от тёти Нины, по всей избе нашей разлился аромат южных фруктов, которые мы с Сашкой-братом тут же пустились уплетать за обе щёки, а радость светилась на наших лицах как лампочка Ильича, висевшая над кухонным столом. Вдруг мой папка со словами «А это ещё что?», вытащил из посылки свёрток из плотной бумаги и стал разворачивать его. А когда развернул, мы с Сашкой-братом просто ошалели, перестав жевать яблоки, которые чуть не выпали из наших рук.

На столе стояли чёрные сапожки, явно моего размера или Сашкиного. Мы бросились рассматривать эти диковинные сапожки, блестящие в свете лампочки на потолке. В это время отец достал из посылки ещё свёрток, в котором оказались точно такие же сапожки, только чуть меньше размером. «Это — мои», — мелькнуло у меня в голове, и я быстро поставил на стол сапожок, который рассматривал, схватил новоизвлечённые и, прижав их к груди с сильно бьющимся сердцем, вдруг услышал, как папка начал читать сопроводительное письмо тёти Нины: «А сапожки, одни — Тольке, другие — Сашке, пошил сапожник, дядя Кузьмич, у Паши в части служит, хороший мастер. Он и офицерам шьёт яловые сапоги,

и племяшам моим сшил, я ему только размер сказала, а он, видишь, какую красоту изладил», — читал папка, а бабушка, сидя на скамье, тянувшейся вдоль всей стены, напротив печки с полатями, улыгнувшись, сказала: «Спасибо, Ниночка, ведь ничего нигде не купить! Спасибо, родная». Сказала так, как будто тётя Нина была здесь и слышала бабушку.

Дверь в избу отворилась, и на пороге показался наш дедка, изобретатель-самоучка, в будёновских усах коричневого цвета, и с улыбкой: «Ну-ка, что это у нас здесь? — произнёс дед, — посылочка, значит, от Нины. Мне Иван-почтальон говорил, на улице встретил». Подойдя к столу и взяв в руки сапожок Сашки-брата, внимательно осмотрел его со всех сторон и, засунув руку вовнутрь, многозначительно произнёс: «Да, знатная вещь, мастер делал. Но я эти сапоги-скороходы ещё лучше сделаю, я их бобровым жиром смажу, и тогда этим чудным сапожкам цены и вовсе не будет — не то что не промокнут, а даже и не намокнут никогда!» На что мой отец возразил: «Батя, может не надо жиром-то, это же не керзаки, а яловые сапожки, их кремом чистят - гуталином и бархоткой. Я видел в армии». «Ладно, Серёжа, почитаем литературу научную, разберёмся, а сейчас давайте-ка примеряйте их, внучатки мои несмышлёные!» — весело произнёс дедка. А то и правда. Нас с Сашкой-братом так ошарашили эти сапожки, что мы забыли, что их и мерить-то надо. Как по команде мы принялись натягивать обновки на ноги. Мне сапоги оказались впору, но только немного великоваты. Отец, потрогав носки сапог, посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Ничего, это на вырост, нога-то у тебя растёт, брат, к весне впору будут, а с бабушкиными носками шерстяными — так совсем идеально!» И, подмигнув мне, добавил: «Только дедке не давай их бобровым-то жиром мазать, я тебе настоящий крем для сапог достану, и Сашке — брату твоему. Будут сверкать ваши сапожки как калоши батины лакированные».

Тут бабушка позвала нас: «Толенька, Саша, а ну-ка потопайте ножками-то, да ступайте ко мне». Потом она нагнулась и, не выпуская т-образную палку одной рукой, принялась ощупывать сапожки сначала у меня, а потом у Сашки-брата. «Хорошие, мягкие сапожки, и высокие, вот по лужам-то будете бегать весной». И опять, как будто тётя Нина была здесь, бабушка сказала: «Спасибо, Ниночка, спасибо, доченька! Радости-то сколько ребятам, теплом лучатся — светятся». «Баба, а можно нам на улицу?» — спросил я. «Бегите ненадолго, пока стол накрываем, темно поди уже», — ответила бабушка, и мы помчались к выходу.

На улице и правда было уже темновато, но это нисколько не омрачило нашего счастья. Мы с Сашкой пустились наперегонки через Нижний мост, где дедка Колчака взрывал, к проймагу. Там всегда вечером зажигали фонарь, как и у райкома партии, и было много народу, и только там в сумерках можно было покрасоваться в новых сапожках. Красовались мы недолго, потому что подул сильный холодный ветер и стало подмерзать. Вернувшись домой, мы с Сашкой-братом вымыли свои сапожки в тазике, протерли и поставили на лавку. Сашка свои, а я — свои. И бегом к столу, где находились тётя Нинины гостинцы. Легли в этот вечер поздно. Все были в приподнятом настроении, много смеялись и рассказывали что-то из прошлого. Проснувшись утром, я первым делом побежал к своим сапожкам, одиноко стоявшим на скамье. Свои сапожки Сашка-брат забрал с собой, когда уходил спать к себе домой с тётей Тасей — мамкой своей. Надев сапожки прямо на босу ногу, я потопал к окну и ахнул: на дворе было белым-бело от снега. Пришла зима. Это обстоятельство сперва обрадовало меня — будем кататься на лыжах и санях с Сашкой-братом, Колькой-дураком и другими ребятами, а потом огорчило, потому что бабушка сказала, что сапожки придётся прибрать до весны, так как зимой в них холодно ходить даже в шерстяных носках,

ею же связанных. «А можно я по избе буду ходить в них хоть иногда?» — спросил я у бабы. «Конечно, можно, Толенька, гуляй сколько хочешь, разношивай, только носочки пододень», — ответила мне она, гладя по голове.

с. Марчуги, 2013 г.

ВОЛЧЬЯ ЯМА

«Зимушки-то у нас на Урале славные, снежные, морозные, знатные», — говорил, рассуждая вслух, мой дедка, изобретатель-самоучка, держа в руке паяльник и изобретая радио. «Зимы у нас как нигде распрекрасные, здоровьем дышат. Вот завтра поедем с Федькой и Серёжкой сушины валить в лесу, на делянке, и тебя, Толька с Сашкой, братом твоим, возьмём приучать к мужскому делу, будете сучья рубить да костёр поддерживать, а то мы там пообморозимся без вас-то вовсе. Ложись пораньше, да одежду приготовь с вечера — вставить ранёхонько придётся», — закончив паять, говорил дедушка. Он изготовил нам с Сашкой-братом на своей службе на Перми Второй два топорика, - сучья рубить и дрова колоть, под наш возраст, и два ломика, - лёд долбить по дорожке к дому, чтобы не скользко было ходить. И мы с Сашкой-братом уже неделю не выпускали свои ломы и топоры из рук, всё что-то долбили, кололи, рубили, даже на горку Шумаринскую ходить забыли. Ждали с нетерпением выходных, когда приедет дядя Федя, Сашки-брата отец на МАЗе, и мы поедем в лес на делянку сушины валить на дрова.

Наконец мотор дяди Фединоного МАЗа затарахтел под окнами нашего дома ранним морозным утром. Мы — мой папка, дедушка и Сашка-брат, плотно позавтракав и одевшись, уже поджидали его. Пошли грузиться. Нас с Сашкой усадили в кабину МАЗа, а папка мой полез в кузов, куда дядя Федя с дедушкой стали подавать ему инструмент, заранее приготовленный и наточенный: багор, пилу «Дружба» с двумя ручками и топоры, в том числе и наши с Сашкой-братом. Потом дядя Федя и дедка забрались в кабину, а папка поехал в кузове. На улице было холодно, а в кабине тепло, потому что дядя Федя нагрел паяльной лампой чугунную плиту и положил её на брусочки под пассажирское сидение, так мне Сашка сказал.

Ехали долго, через наш Нижний мост, мимо ремзавода, Ванюков, Савино и Болгар, там съехали с шоссе и поехали к лесу по загодя пробитой трактором дороге. Приехали, когда уже рассвело. Лес стоял, нарядно одетый в снежные шапки, и было очень тихо. Первым делом наладились разводить костёр. Вытоптали в сугробе площадку, и давай рубить хвойные лапы с сушин, которые должны были валить. С костерком стало веселее и теплее. Дедушка взял длинный багор, дядя Федя — топор, чтобы сделать заруб на стволе, а папка — пилу «Дружба» с двумя ручками, ну а мы с Сашкой-братом шли следом с топориками — сучья рубить. И закипела работа. Дядя Федя сделал заруб, потом они с папкой моим стали спиливать дерево пилой «Дружба», а дедка длинным багром толкать дерево, чтобы пилу не закусывало. Первая сушина с грохотом и треском повалилась в пушистый глубокий снег, и настала наша очередь поработать на славу, как сказал дед. Сучья оказались крепкими, и срубить их было нелегко и неудобно в наших полшубках. И дядя Федя послал нас работать ближе к верхушке, а сам ловко срубал нижние, самые толстые, которые мы с Сашкой позже таскали к костру.

И тут случилось происшествие. Сашка-брат, взяв две здоровые лапины, решил срезать путь и поволок их не по тропе, а напрямки, да и провалился с головой куда-то. Я увидел и побежал к нему на помощь. У края ямы остановился и вижу, что Сашка сидит на дне и тарашит на меня свои испуганные и моргающие глаза. Поняв, что мне его не вытащить и крикнув «Жди!», я побежал за подмогой. Отец, дядя Федя и дедка, побросав инструменты прямо в снег, помчались вслед за мной на выручку. Вытащили мы Сашку-брата верёвкой, которая была у дяди Федя в кузове МАЗа, и дедка, закурив свою «козью ножку» промолвил: «А ведь это волчья яма, внучатки мои дорогие, ребяташки, и хорошо, что сейчас волков в такие ямы не гонят, а просто отстреливают в голодные зимы, когда они

сильно донимают, скот домашний режут, а раньше бы в дно таких ям вбивали острую колы остриём вверх, и несладко бы тебе пришлось Сашенька!» «Да, ешь-ма, хана бы тебе, Сашка, пришла, ешь-ма, насквозь бы проткнули тебя колы те, ешь-ма», — сказал позже, когда мы ему рассказывали, сидя рядышком на крыльце, дядя Коля Кусакин.

Работали мы на делянке весь день, пока не стало темнеть, с перерывом на обед. Папка мой, дядя Федя и дедка погрузили брёвна в кузов, и мы поехали обратно. По дороге мы с Сашкой-братом уснули в кабине и проснулись только у дома.

Бабушка и тётя Тася всех покормили, и дедка, папа и дядя Федя пошли разгружаться, а мы с Сашкой-братом, забравшись на полати, опять уснули. «Когда поработаешь хорошо, тогда и естся хорошо, и спится хорошо, и живётся хорошо», — сказал дедушка, посмотрев на свисающие с полатей наши руки и тоже отправился отдыхать.

с. Марчуги, 2013 г.

АРЛЕКИНО

Подходил Новый Год, второй после Дня Победы наш любимый с Сашкой-братом праздник. Мы в садике готовились к Ёлке. Учили разные песенки с Елизаветой Ивановной, нашим музыкальным руководителем, и репетировали танцы — хороводы. Из садика нас с Сашкой-братом забирала тётя Тася, его мать. Подвела меня к дому и говорит: «Иди, Толя, дальше сам, там тебя сюрприз поджидает». И они пошли к себе, а я — к бабушке. Зашёл во двор, обмёл ноги метёлкой, прошёл через сени и открыл дверь в избу. Сразу с порога я увидел красивый шелковый костюм Арлекина, лежавший на кухонном столе. Одна штанина была чёрная, другая — жёлтая, тоже и с рукавами — один жёлтый, другой чёрный. Я даже дверь забыл закрыть — так и бросился к столу и только тут увидел, что моя бабушка сидит с моей мамой в комнате за печкой. Мама поднялась со стула и бросилась мне навстречу. «Здравствуй, Толечка! Здравствуй, сыночек мой!» — заговорила она взволнованно и обняла меня. «Как я соскучилась-то, если бы ты только знал! Вся душа изболелась по тебе! Как ты подрос, и шубка новая». «Папка купил с получки», — ответил я и отстранился. Мать села на скамью, даже не села, а рухнула, протянула руку и сказала: «Ну, иди ко мне, сядь рядышком, давай шубку-то снимем, сынок». Расстегнув, сняла с меня шубку и, посадив рядом, обняла: «Ну, как ты? Как ты тут?» И заплакала. Я почему-то тоже заплакал и прижался к ней. Так мы сидели и плакали, и бабушка, закрыв дверь, тоже плакала. Потом мама, будто кто её отдёргнул от меня, резко встала и заговорила быстро: «А я тебе костюмчик Арлекина сшила. Ведь Новый Год скоро, и утренник у вас с ёлочкой будет, и музыка веселая будет звучать, и песни будут, и танцы, и Дед Мороз придёт со Снегурочкой, и мишки и зайки будут». И опять заплакала навзрыд. «А ты, Толя, не плачь, и вы, Елизавета Ивановна,

тоже не плачьте. Не надо, пожалуйста, плакать-то». А сама всё плакала и плакала.

Моя мама была уже два года в разводе с моим отцом, и говорили, что она будто снова замуж вышла за какого-то Бориса из Балатова, и Колька-дурак меня подучивал: «Если кто тебя спросит, где твоя мать, говори, что твоя мамка — сука, замуж вышла в Балатовке». Но я так не говорил, а говорил, что не знаю, где она. Бабушка маму тоже любила, несмотря на то, что они развелись с папкой, и говорила: «Тамара, мама твоя, Толя, очень хорошая и красивая, да вот характерами не сошлись с Серёжкой, и любовь испугали ссорами своими, а ведь была у них любовь-то страстная, настоящая, с искрой в глазах. Я видела — и Сергей с лаской к ней всегда, и она хозяйственная, прибранная, не присядет ведь, всё хлопочет. И двоих детей нажили, и душа в душу жили, да вот как кошка чёрная между ними пробежала, и на тебе — развод, и детей поделили, и счастье своё разрушили, вот ведь как бывает в жизни-то. Может, сойдутся ещё, даст Бог, ан нет — упрямые оба, с характером».

На утреннике я был самым нарядным в костюме Арлекина и среди нашей группы, и среди всего детского сада, так сказала мне Елизавета Ивановна после того, как я спел песенку про Новый год, а она подыграла мне на пианино, и все долго хлопали.

Весна наступила неожиданно и как-то сразу. Потеплело, и потекли ручьи, и забарабанила капель с крыш, и запели птицы под весенним солнышком. И тут бабушка достала откуда-то мною забытые за зимними горками сапожки и говорит: «Толенька, ты глянь-ка, что я нашла-то. И Серёжка, папка твой, не забыл обещания, достал таки крем для сапожек ваших с Сашкой, правда, одну баночку на двоих. Давай, смажь их, да беги скорее к Сашке». Я взял щётку, лежавшую рядом с баночкой чёрного крема, и давай натирать свои сапожки до

блеска. И надел их, и помчался к Сашке-брату. Но его не было дома. Он ушёл с мамкой в кочегарку райкома партии к отцу своему, моему дяде Феде, относить обед. Я вышел от них и направился к первой попавшейся луже испытать свои сапожки, но лужа была во льду. Вспомнив про свой ломик, я бросился домой. Нашёл ломик, и, вернувшись к луже, стал долбить лёд. И тут, то ли от спешки, то ли от волнения, я со всего маху воткнул свой ломик себе в носок сапога. Сильная боль обожгла ногу, и из носка сапожка тонкой струёй брызнула в лужу кровь. Я заревел от горя, и мои слёзы крупными каплями покатались по щекам, а плакал я не от боли вовсе, а оттого, что было очень жалко эти прекрасные сапожки, всего второй раз надёванные.

с. Марчуги. 22 июня 2013 г.

ЧЕРЕМУХА

Нашу группу из детского садика провожали в школу, в которой Сашка-брат уже учился целый год, потому что старше меня на один год без одного дня. В большом зале, где проводились ёлки и стояло пианино; было торжественное собрание, и нам вручали школьные принадлежности в ранцах, парням дали чёрные лакированные ранцы, а девчонкам — розовые.

А Елизавета Ивановна, наш музыкальный работник, поиграв на пианино, подошла ко мне, поцеловала и подарила ещё красивую книжку и большую коробку шоколадных конфет, потом наклонилась и шепнула мне на ушко: «Толя, угости всех». Я и раздал почти все конфеты, оставив только бабушке, Сашке-брату, Кольке-дураку да и себе по конфете.

После этого, когда меня забрала из садика моя тётя Люся, кока, я шёл гордо мимо райкома партии, продмага и столовки нашей через Нижний мост и почему-то здоровался с каждым встречным, и со мной все здоровались в ответ. К школе нас готовили в садике, и читать я уже умел, но не поэтому. Как-то, зимы две до этого, Вовка Жихарев — Дыдка, привёл нас с Сашкой-братом в библиотеку — большой кирпичный двухэтажный дом, стоявший прямоком перед нашей Второй Замуляновской, которая упиралась в шоссе космонавтов, а библиотека стояла на другой стороне. Кстати, когда я научился там читать, то удивился, что наша улица называется не Вторая Замуляновская, а Вторая Замулянская, но все её называли Замуляновская, хотя читать умели. «Это потому, Толенька, что Замуляновская как-то роднее звучит, добрее, что ли», — пояснила мне бабушка, когда я у неё спросил.

Так вот, когда Вовка Жихарев-Дыдка привёл нас зимой в библиотеку, там работала Надежда Николаевна, тётенька в белой пушистой шали. Она посмотрела на нас с Сашкой, сильно замерзших, в полушубках, в валенках, в шапках с уша-

ми, завязанными через голову резинкой, и в шарфах в инее, и сказала: «Ну, раздевайтесь, и проходите в читальный зал, малыши. Как же вас зовут?» Сказав, что я Толька, а это Сашка, мой брат, мы разделись и пошли за Дыдкой на второй этаж, где был большой зал со столами и приставленными к ним стульями. На каждом столе стояло по две настольные лампы. Мы остановились, а Вовка-Дыдка сказал негромко: «Вон, возьмите книжки на стеллажах и читайте, только тихо, не шуметь». Мы подошли к стеллажу и стали выбирать книжки с картинками, выбрали и пошли к столу. В зале, кроме нас с Вовкой никого не было. Было тихо и тепло, я стал листать свою книжку, а Сашка — свою. И тут подошла к нашему столу Надежда Николаевна с табуреткой, присела и спрашивает: «Ну, как дела, что читаете?» Я показал свою книгу, и она говорит: «Это хорошая книга, Толя, называется она «Всадник без головы». Мне так сразу понравилось название книги и Надежда Николаевна, что я прямо и спросил: «А как её читать?» И с того самого дня Надежда Николаевна стала учить нас читать. К весне мы с Сашкой-братом уже довольно сносно читали, только он медленно, потому, что ещё заикался, а я быстро. А тогда, когда мы воротились первый раз из библиотеки, и бабушка взволнованно спросила: «Где же вы были, и Сережка вас искал, и Тася — мамка Сашкина, и все потеряли вас», — я ответил, что мы были в библиотеке, и Надежда Николаевна учила нас читать. Бабушка улыбнулась, а когда уже накормила и укладывала меня спать, грустно сказала, что этот дом, где сейчас библиотека — дом моего другого дедушки, отца Тамары, матери моей. Там на первом этаже магазин у них был, а на втором они жили, дом отобрали, и мельницу у моста тоже, а их сослали на поселения в Нырб исправляться, а потом им разрешили вернуться, и дед твой, Тамарин отец, построил новую мельницу и дом в Култаево, и его там избрали председателем колхоза, да вот снова сослали в Нырб, потому что не оправдал доверия

партии и народа. А сейчас, значит, снова доверяют — опять председателем назначили и велят восстановить сельское хозяйство. «Ироды окаянные. Только ты, Толенька, это никому не рассказывай, пожалуйста, а то плохо будет, прости меня, Господи, болтунью старую». И бабушка, перекрестившись, погасила свет.

В выходные перед 1 сентября папка повёл меня в парикмахерскую, которая размещалась в покосившемся зелёном доме у моста, рядом с мельницей моего второго дедушки, из которого мой дедка, изобретатель-самоучка Колчака взрывал на мосту. По дороге отец рассказал мне, что сейчас парикмахерша Любка освоила две новые стрижки: бокс и полубокс, а раньше всех стригли под горшок, но в верхнемуллинской школе № 1, куда я должен идти, эти стрижки не разрешили из-за вшей, а то бы он обязательно подстриг меня под полубокс с проборчиком, ну, а так как не разрешили, будем стричься по-старому — «чубчик-чёлочка». Стричься мы с Сашкой-братом страшно не любили, потому что Любка-парикмахерша «всю голову издерёт своей блестящей машинкой с зубчиками, а антенны во все стороны торчат, равняй их потом». Так говорила тётя Тася — мамка Сашки-брата.

Любка стояла в фартуке на крыльце и курила «Беломор»: «Здорово, Серёга! Чё, своего в школу собираешь?» — заголосила она. «Я своего обормота тоже собираю, да он не хочет, лентяй этакий, говорит — работать хочу, а в школу не хочу, чего я там не видел?» Савка, сын Любкин, был и правда обормотом, всё норовил что-то где-то стибрить, и в наш шалаш лазал — то сачок украдёт, то снасти какие. Жили они вдвоём на квартире у безрукого почтальона дяди Вани задаром — жалел он Любку, а она его нет, и Савка тоже. Я сам раз слышал под их окнами, как Любка говорила дяде Ване: «Слушай сюда, фронтовик культяпый! Если ещё раз лапу свою протянешь ко мне, так я её топором оттяпаю, будешь ходить у меня — рукава в карманы».

В общем, усадила Любка меня на стул перед зеркалом и давай издеваться: «Чё, Толька, по девкам-то уже бегаешь? Папка-то твой завидным женихом был!»

А сама шипит своей машинкой блестящей, дерёт мою голову, да наклоняет её свободной рукой. Выйдя на крыльцо, я вздохнул с облегчением и отправился в Шайбу — так называлась круглая пивнушка, которая находилась здесь же, рядом с мельницей, на берегу нашей Мулянки, под тополями. Папка меня там ждал, стоя у большой бочки: «Ну вот, брат, совсем другой коленкор, на-ка бутерброд с селёдкой, перекуси». Я умял бутерброд и, сказав, что иду на улицу, отправился к выходу. И прямо у выхода наткнулся на Сашку-брата и Кольку-дурака. Они меня искали и нашли, Любка подсказала: «В пивнухе нашей, в Шайбе, трётся ваш Толька, там его Серёга поджидал». Лица у них были счастливые, а рты чёрные. «Смотри, сколько черёмухи-то набрали, сладкая», — как-то непривычно быстро заговорил брат Сашка, показывая большой кулёк с черёмухой. «Авэн на залив позырим, да искупнёмся», — продолжал также весело Колька. «Сейчас, я только у бати отпрошусь», — сказал я и вернулся в Шайбу. Отец отпустил, и мы направились через дорогу перед мостом на залив. Колька-дурак вдруг громко запел: «Скоро на заливах лёд растает, и ромашки в поле расцветут. Скоро нас с тобою под конвоем в лагеря этапом поведут». И ещё громче захохотал. Я удивленно посмотрел на него и подумал: «Что-то новенькое». Мы спустились по дамбе к речке.

Погода была теплая, и народу на заливе купалось много. Мы уселись в тенёчке под ивняком и начали глазеть по сторонам и есть черёмуху горстями. Черёмуха была крупная, спелая, и вправду сладкая, как Сашка-брат сказал, поэтому мы её умяли быстро и, раздевшись, побежали купаться.

У самой воды я отсчитал «раз, два, три — ныряй и плыви», и мы бросились в воду. Водичка была прохладная и чистая,

мы поплыли наперегонки, и тут мне как будто кто под дых дал — так заболел живот, что я подумал: «Может, Колька долбанул ногой?» Но он был далеко впереди. Я остановился и начал гладить под водой живот руками, но боль не проходила, а становилась ещё сильнее. Я беспомощно карабкался посреди залива и начал захлёбываться. Появившийся откуда-то Сашка, смеясь, спросил: «Толька, ты чё прикалываешься?» Но когда увидел моё скорченное от боли и страха лицо, схватил за руку и потащил к берегу. Какой-то дядька, проплывавший рядом и заметив что-то неладное, стал помогать Сашке-брату, и они вытащили меня на песчаный берег залива.

Я лежал, скрутившись в калачик, и стонал от боли, обливаясь потом, и дрожал всем телом от страшного, ледящего холода. Сашка закричал мне в ухо: «Толька, что с тобой?» И я с трудом ответил: «Живот... Черёмухи объелся». Он побежал по берегу к какой-то компании взрослых, сидевших невдалеке, крича: «Тольке плохо, у него живот болит, он черёмухи наелся!» И те взрослые подошли и, окружив, стали спрашивать: «Что у тебя болит, мальчик?» Почти не видя их, сквозь слёзы я ответил: «Живот». «Да тут скорая нужна, врач нужен», — произнёс кто-то. И взрослые стали бегать по берегу и искать врача или фельдшера на крайний случай, но ни того, ни другого не было среди купальщиков. Тогда Сашка-брат, сказав появившемуся Кольке-дураку «Карауль», побежал вверх по дамбе на Шоссе Космонавтов. Он бежал и кричал по пути: «Скорая! Скорая! Нужна скорая помощь!» А Колька спрятался в кустах. Сашка бегал уже поперёк дороги у моста и всё кричал: «Нужна скорая!» И она вдруг приехала! Вернее, она на счастье проезжала мимо. Сашка-брат бросился на неё, как на амбразуру и закричал: «Нужен врач! Толька умирает!» И врач в белом халате оказался возле меня, быстро осмотрев и потрогав живот, произнёс: «Да тут аппендикс и, кажется, острый перитонит — немедленно в больницу...»

Притащили носилки, и меня, как был, в мокрых трусах, извалянных в песке, понесли в скорую. А Сашка-брат бегал вокруг и кричал мне то в одно ухо, то в другое: «Толька! Ты держись, брат, не умирай! А сандалии твои и рубашку со штанами я бабушке унесу — не бойся!»

Меня отвезли в Балатово на Больничный городок в хирургическое отделение и сразу, помыв немного под душем, положили на операционный стол.

Дядьки в халатах и белых же шапочках двигались бесшумно вокруг стола, а тётки суетились и мазали мне живот йодом ближе к паху. Потом передо мной поставили ширмочку, и за остальным я наблюдал уже через зеркальный купол с лампочками, а потом уснул. Проснулся я уже в палате и первое, что увидел — улыбающееся лицо матери: «Проснулся, Толенька, — вот молодец-то ты у меня, вот молодец. Врачи сказали, что сейчас уже всё хорошо будет, всё хорошо, а было совсем всё плохо. Порвался у тебя аппендицит-то, и если бы не скорая — даже сказать страшно. Бабушка здесь твоя с дедом и папкой, он их на мотоцикле привёз: Елизавету Ивановну в коляске, а дедку — на заднем сидении, так они всю ночь просидели в приёмном отделении, но их не пустили к тебе. А меня вот пустили. Ко мне Тася, Сашкина мама, с первым трамваем приехала, разбудила и говорит: «Беда, Тамара, Тольку в больницу увезли». Так я как была в халате, так и прибежала. И сейчас всё хорошо, а было, врачи говорили, совсем плохо».

Выписали меня из больницы через двенадцать дней, а пока лежал, ко мне приезжали с яблоками Сашка-брат и Колька-дурак, и Колька Шумарин, и ребята постарше с Замуляновской: Колька Казаков, Вовка Жихарев — Дыдка, Колька Кусакин и другие. А когда я один сидел на крыльце дяди Коли Кусакина (все уже в школу пошли) и рассказывал, как брат Сашка бегал по дороге и звал скорую помощь, дядя Коля сказал: «Да, Сашка твой весь в Федю — отца свою, ёшь-ма, он один с четырь-

мя дрался за Серёгу, когда того бритвой полоснули, ешь-ма, за Тamarку. Красивая Тamarка-то была, прямая, весёлая, ёшь-ма, все за ней и вились, а она Серёжку выбрала — папку твою. Он у нас на Замуляновской самый культурный был: и на гитаре играл, и на баяне, и техникум закончил, ёшь-ма. Куда там Жулану до него! Хоть хороший мужик, да не тот, ёшь-ма».

В школу я пошёл не первого сентября, как все, а позже, когда совсем поправился. Пришёл, отсидел три урока на первой парте (задние все заняли) — скучно, никого не знаю, а после уроков Полина Ивановна позвала меня к себе и сказала: «Ну что, Толя Полотнянщиков, будешь ты у нас в классе вторым». «Почему это вторым?» — спросил я. «Потому, что у нас в классе есть уже один Толя Полотнянщиков. Говорят, какой-то твой дальний родственник».

И вспомнил я, что действительно, у моего дедки, изобретателя-самоучки, есть родной брат, а у того сын, а у сына — внук, и звать его Толька, как и меня. Правда, я его не видел, он с родителями куда-то уехал и, видно, вернулся.

«А сейчас, — продолжила разговор Полина Ивановна — учительница, — я хочу тебя протестировать. Это значит, что я буду задавать вопросы, а ты отвечать на них». И она стала задавать вопросы, и когда обнаружила, что я умею читать и писать, то удивилась и сказала, что моя мама молодец. А когда я сказал, что учила меня читать и писать не мама, а библиотекаря Надежда Николаевна, она удивилась ещё больше и спросила: «А мама что же?» Я ответил, что моя мама живёт где-то в Балатово, а я живу с бабушкой. «Ну что, Толя, всякое в жизни бывает. Передай бабушке, что у тебя всё отлично, жаль только, что первый звонок пропустил — память на всю жизнь», — сказала с доброй улыбкой Полина Ивановна. Ни она, ни я тогда и не подозревали, что не доведется мне услышать и последний звонок в школе, потому что после седьмого класса уже Балатовской средней школы № 115, на том же

Больничном городке, где мне вырезали аппендицит, а потом пришивали отрубленный палец, я уйду из школы в ПТУ № 19 на Майском учиться на электрика.

Марчуги. 24 июня 2014 г.

БОЛЬШАЯ ДОРОГА

Я стал школьником. Сначала мне было скучно, потому что я никого не знал. Потом познакомился с Толькой Полотнянниковым-первым, своим дальним родственником. Нас усадили за одну парту, за которой мы и просидели все три года, напротив стола Полины Ивановны, нашей учительницы.

Потом появился Кешка-цыган, брат нашего Кольки-дурака, которого привезли в школу всем табором прямо со свадьбы. Все они приехали из другого города, где отдавали замуж Машку — старшую сестру Кешки и Кольки. Цыгане пировали там целый месяц — это рассказал мне Кешка. И именно он, где-то через неделю, придумал мне прозвище — ПОЛОТНО, укоротив мою фамилию. А когда я спросил — с чего это? — Кешка-цыган ответил, что у них в таборе, если появляются два человека с одинаковым именем, одному обязательно дают прозвище, а точнее — кличку, чтобы понятно было, кто есть кто. «А вас в классе, Полотнянниковых, двое, и оба — Тольки. Усек?» — спросил меня друг Кешка, я ответил: «Усек». И стал Толькой-Полотно. А когда вечером пришел с работы отец, я его спросил: «Пап, а что такое полотно?» «Ну, брат, это целое понятие. Есть железнодорожное полотно, и трамвайное, есть дверное и оконное, дорожное полотно, ножовочное, даже лезвия ножа и сабли — тоже полотно, понял?» Я мотнул головой, а отец продолжал: «Ну, тогда беги, уроки делай, и мне надо позаниматься, в институт хочу поступать, на заочное отделение, после техникума туда без конкурса берут».

На следующий день в школе на перемене я рассказал, что такое полотно Полине Ивановне, она внимательно выслушала все, улыбнулась и сказала, что в это понятие входит еще и художественное полотно, живописное — так называют художники свои картины: «И когда мы с тобой во время каникул пойдем в Пермскую картинную галерею, ты увидишь там много пре-

красных полотен, а я расскажу тебе о них и о тех художниках, которые писали эти картины». «Как так писали? — удивился я, глядя на Полину Ивановну, — ведь картины рисуют». «Правильно будет и так и так, в данном случае эти слова — синонимы, а клички и прозвища — это нехорошо. Вот псевдоним — другое дело». Прозвенел звонок и начался урок.

На уроках класс писал палочки под наклоном, учил алфавит и таблицу умножения, а мне Полина Ивановна давала другие задания, и я их выполнял.

Как ни странно, свободного времени у меня стало больше, чем в детском саду, и у Сашки-брата тоже, а про нашего Кольку-дурака и говорить нечего. После того, как его отчислили из нашей школы, давно уже, а в другую школу дядя Вася — кузнец с ремзавода, цыган, его не отдал, Колька гонял балду. Так всегда говорила тётя Тася, мамка Сашкина. Колька часто поджидал нас у здания школы, на которое недавно водрузили плакат: «Наша школа — школа коммунизма». И мы вместе шли домой: Кешка к себе, Сашка к себе, а я к себе.

Колька садился на скамеечку и свистел там или из рогатки стрелял, пока мы ели и делали уроки. Потом мы все втроём шли в центр — так стало модно говорить после того, как в наших Верхних Муллах построили новый хозмаг возле моего садика, нашей столовки, продмага и райкома партии с клубом.

Шли мы через мост, над которым тоже повесили плакат: «Пятилетку в четыре года!», и который невозможно было прочитать с другой стороны: «!АДОГ ЕРЫТЕЧ В УКТЕЛИТЯП».

Над нашей столовкой тоже повесили плакат: «Хлеба к обе-ду в меру бери! Хлеб — наше богатство, им не сори!» Над новым продмагом повесили плакат: «Всё для Родины, всё для народа!» Над нашим детским садиком: «Спасибо партии за наше счастливое детство!» Над исполкомом: «Миру — мир!» Над входом на стадион, где до сих пор стоял облупившийся «обезьянник»: «Слава спорту и труду». Над клубом: «Важнейшим

из искусств для нас является кино. В. И. Ленин». Над почтой: «Наш адрес — Советский Союз». И, наконец, над райкомом партии красовался огромный плакат: «Слава КПСС».

Эти плакаты никто и не читал, кроме нас, учеников начальных классов Верхнемуллинской средней школы № 1, но плакат на клубе нам нравился: «Важнейшим из искусств для нас является кино. В. И. Ленин». Правда слово «искусств» мы не понимали, и когда я спросил об этом своего отца, он ответил: «Брат Федя говорит (он тогда работал в кочегарке райкома партии), что это новый начальник чудит, которого недавно прислали в райком. Он и приказал везде плакаты развесить — работу свою показывает. А «искусств» — это «искусство» во множественном числе». И я снова ничего не понял, хотя мотнул головой и сказал: «Ага!»

Кино мы любили очень. В простые дни показывали три сеанса — в 17:30, 19:30 и 21:30, на что Колька-дурак сказал однажды: «В 17:30 для вшивой интеллигенции, в 19:30 — для рабочих и крестьян, а в 21:30 — для фраеров с краями, чтоб могли сосаться и обжиматься». Мы готовы были ходить на все сеансы подряд, да нас не пускали, потому что у нас не было на билеты денег. Ведь пришла осень, и народные гулянья, как сказал мой отец, на нашей речке Мулянке закончились, а значит, и пустые бутылки закончились, которые мы сдавали в приёмный пункт стеклопосуды и ходили в столовку. Кстати, хлеба к обеду мы брали не в меру много, потому что он был бесплатным. В общем, бутылок не стало (а их научил собирать нас Колька-дурак), и денег не стало. Но у нас был друг Колька Шумарин по прозвищу Шаман, тот, который жил на Шумаринской горке, а у Кольки была бабушка Нюра, которая с недавних пор устроилась работать поближе к дому, в наш клуб, именованный Верхнемуллинским районным домом культуры. Там баба Нюра стала мыть полы и проверять билеты на контроле. И она, по просьбе-мольбе своего внука Кольки, пропускала

нас — меня, Сашку-брата, Кольку-дурака и своего внука бесплатно. Когда были свободные места, пропускала в зрительный зал, а когда не было — за экран. В общем, после появления бабы Нюры в клубе, мы оттуда не вылезали ни осенью, ни зимой, ни летом, ни весной, все оставшиеся годы нашего детства.

Мы посещали все мероприятия, какие только проводились в клубе, присутствовали на всех без исключения репетициях многочисленных кружков художественной самодеятельности, кроме духового оркестра, которым руководил Борис Дреер. Однажды мы посидели на его репетиции, и я чуть не заревел — так стало грустно. Потом мой папка объяснил мне, что они репетировали Похоронный марш Шопена, и я подумал, что правильно мой дедка, изобретатель-самоучка, когда Колчака воевал, взорвал мост вместе с духовым оркестром, играющим «Боже, царя храни». Ну их, к бесу, с такой музыкой. Мы знали по именам всех музыкантов ансамбля Сашки Кужмана, которому на замену как раз пришёл Сашка Амаглабели с йоникой «Юность» подмышкой. Его мы прозвали «человек-невидимка», но не из-за его странной фамилии, какой мы не слышали раньше, и не потому, что его не видно было. Как раз наоборот, его было видно издалека. Он был лысым, в отличие от всех остальных музыкантов Сашкиного ансамбля. Прозвали мы его невидимкой потому, что он никого не видел, хотя был зрячим. «Припрётся со своей шарманкой подмышкой, ни здрасьте тебе, ни до свидания — никого не видит», — говорила баба Нюра ему вслед, а мы слышали. Нас же он, как говорил Сашка-брат, в упор не видел.

Бывало, зная, что у них репетиция в пять часов, когда было ещё тепло, мы сядем на переходах, по которым он обязательно будет идти в клуб с трамвая, и поджидаем его. Он припрётся, насвистывая что-то себе под нос, перешагнёт через нас по очереди, держась за перила, и в упор нас не видит.

А однажды, во время репетиции, я подошёл к нему и нажал на клавишу его же йоники «Юность». Та запела громко, а он меня в упор не видит...

В новогодние каникулы в клубе проводили Ёлки. Утром — утренники для маленьких, в обед — для детей постарше, а вечером — «огоньки» для взрослых. Мы были на всех. Весной проходил районный смотр художественной самодеятельности, как сказала баба Нюра, в два этапа: первый этап проходил в субботу, второй — в воскресенье. На сцене выстраивался президиум, и туда рассаживалось всё начальство района, и наш Кель с Замуляновской тоже. Потом секретарь райкома партии двигал речь, и наш Колька-дурак говорил: «Сейчас речь двигать будет, пойду отолью». Потом президиум разбирали и на сцене начинали выступать таланты со всего Пермского района.

Мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком, конечно, ждали наши таланты из Верхних Муллов, которые здесь в клубе и репетировали.

Больше всего мы ждали нашего дружка Вальку Гладких. «Ну, копия Сергей Есенин, — говорила про него баба Нюра, — вылитый». Валька был весёлым и добрым пареньком постарше нас года на четыре. Его все любили и жалели, потому что у него умерла мама, и он с тремя братьями остались с одним отцом, а отец крепко запил и перестал ходить на работу, и всё время ревел, пока тоже не умер... И ребят хотели отдать в детский дом, но старшие братья пошли в райком партии и упросили, чтобы всех братьев оставили дома. Их и оставили, потому как они уже работали. Валька пел просто удивительно красиво, во много раз лучше, чем наш Жулан с Замуляновской, который тоже на смотре защищал честь родного ремзавода. Так он сам нам говорил, стоя у клуба и покуривая. «Волнуется», — сказала нам, глядя на Жулана, баба Нюра, — «Вся Замуляновская ведь пришла болеть за него, и твой отец при-

шёл, Толька». Папка и правда пришёл в воскресенье на финал посмотреть, в тёмном костюме отглаженном и белой рубашке с воротничком откладным. «Его и в жюри приглашали, да он отказался, говорит — работы много, извините», — продолжала баба Нюра.

Мой отец тогда стал начальником на фабрике песков от Свердловского завода, и работал недалеко от нашей школы, на карьере.

Жулан спел очень хорошо, и ему долго хлопали, и дали грамоту после, но когда вышел на сцену и улыбнулся Валька Гладких, мы сильно заволновались, а Колька-дурак даже свистнул и крикнул: «Валька, давай!»

И Валька дал! Ещё раз улыбнулся скромно и запел: «И вспыхнул вдруг, как изумруд, огонёк в ночи, в бесконечной ночи...» А дальше я уже и слов не разбирал, а только слушал его удивительный голос, и слёзы накатились на мои глаза. Как же он красиво пел!

Песня закончилась, и Валька, замолчав, улыбнулся опять. Зал молчал. И вдруг, будто проснувшись, все захлопали, затопали и закричали «Ещё! Спой ещё!» И мы кричали с Сашкой-братом и Колькой-дураком, и папка мой кричал, и вся наша Замуляновская кричала, и все Верхние Муллы, и весь Пермский район.

И на сцену выбежал председатель жюри, как потом сказал мой отец — какой-то очень важный деятель из Пермского Оперного театра, с такой седой шевелюрой, и стал трясти руку нашего Вальки и обнимать его, и кричать, что он лучше Робертино Лоретти. Потом развёл руки и тихо попросил: «Спойте ещё».

И Валька пел ещё четыре раза, а зал всё ревел и хлопал, и просил «Спой ещё!» И снова все хлопали и кричали «Молодец», и не давали Вальке уйти со сцены. А когда секретарь райкома партии выскочил на сцену и стал кричать: «Успокой-

тесь! Вы срываете мероприятие!», — его никто не слушал, и все просили Вальку спеть ещё.

Вальке Гладких присудили звание лауреата районного смотря художественной самодеятельности. Как мне потом растолковал папка — это высшая награда артисту на любом конкурсе. И Вальку делегировали на городской, а потом и на областной смотр, и он их все выиграл... Но на следующий год Валька наш не участвовал в конкурсах самодеятельности — его посадили в тюрьму за воровство, сначала в тюрьму для несовершеннолетних, а потом и во взрослую — там он и пропал. «Да, ешь-ма, сгинул в лагерях ваш Валька, ешь-ма, большой ТАЛАН, гады, приморили, ешь-ма. Сколько их по тюрьмам да по лагерям мается, ешь-ма, таланов таких несчастных, ешь-ма», — говорил нам дядя Коля Кусакин на своём крылечке, вздыхая и покуривая свою самокрутку. А Колька-дурак, когда услышал от нас, что Вальку посадили, вдруг захохотал и запел: «Не печалься, любимая! За разлуку прости ты меня... Как бы ни был мой приговор строг, я вернусь на родимый порог...» Тогда я опять посмотрел на Кольку и подумал: «Снова что-то новенькое».

Но больше всего в нашем клубе мы обожали смотреть кино. Мы пытались попасть на все сеансы, и, когда баба Нюра не работала, «прорывались» в зал, создавая толкучку, а потом проскакивая мимо контролёров «зайцами», и прятались между рядами, хотя нас никто и не искал.

Давали зарубежный художественный фильм «Большая дога» про войну и весёлого, как наш Колька-дурак, солдата Швейка. Фильм был смешной, и баба Нюра работала. Мы уже сходили на два утренних сеанса. По выходным показывали не три сеанса, а пять, и мы уже пошли на третий дневной. Народу прибавилось порядочно, и баба Нюра сказала нам: «Идите за экран и больше не бегайте туда-сюда, не пушу». Мы забрались за экран на сцену и развалились на полу, на спортивных

матах — там размещалась спортивная секция для показателей.

Зрительный зал заполнился любителями кино позырить. А мы лежали на спинах и, дрыгая ногами, делились впечатлениями о фильме, который сейчас начнётся для нас уже в четвёртый раз. Колька-дурак потянулся и сказал, будто потолку: «Чё-то курить охота. Пойду в зал, стрельну у кого-нибудь папироску». И ушёл. Колька тогда уже курил регулярно, и мы с Сашкой-братом пробовали, да нам не понравилось — невкусно.

А там Колька кому-то объяснял за экраном: «Да нам по барабану, что изображение перевёрнуто и нечёткое, зато у нас звук громче, и курить можно лёжа». Тогда в зрительном зале не запрещали курить, все и курили. Дым коромыслом, аж экран не видать, и не продохнуть.

Колька-дурак появился за экраном с папироской в зубах, а вторая белела за ухом. Он сказал нам: «Учитесь, салабоны, пойду, побрызгаю». И удалился в глубь сцены. Там, за кулисами, стояло пожарное ведро, куда мы справляли малую нужду. Свет погасили, и началось кино. Пришёл Колька, развалился рядом на мате, покуривая в кулак, и мы начали ржать то над Швейком, то над Колькой, который очень смешно изображал солдата и фрицев. Дыма за экраном прибавилось, и я подумал: «Что-то сильно раскурились, собаки, сегодня». И мы продолжали кататься от смеха на животах. Дыма прибавилось ещё, и стало пощипывать глаза; и в зале с другой стороны экрана, кто-то крикнул: «Эй, вы, харэ курить! Глаза дерёт!» Я глянул на Кольку и забеспокоился, зная, что означает его смех такой, а он хохотал всё громче, и даже не глядел на экран. Сашка-брат тоже забеспокоился и, глядя на меня, сказал: «Толька, что-то тут не то». И мы стали подниматься, чтобы осмотреться, и тут же присели — вверху нечем было дышать, сплошной едкий дым. Я пополз к Кольке со словами: «Колька, гад, ты чё опять!?» А Сашка-брат, прикрыв одним рукавом рот и нос,

другой рукой что-то мне показывал, и только сейчас я увидел большой огненный глаз на соседнем мате, зло смотревший на меня. Я всё понял. Закрыв, как Сашка, лицо рукавом, я поднялся и, подбежав к мату, стал топтать его ногами. Полетели искры, и дыма стало ещё больше, а Колька-дурак стал хохотать ещё громче. Тогда Сашка-брат, нагнувшись, побежал в глубь сцены за кулисы и вернулся оттуда с пожарным ведром красного цвета и опрокинул его на горящий мат. Лучше бы он этого не делал. Мат зашипел как сто недовольных гусей, и над ним поднялось зловонное облако. В зрительном зале зашумели, и народ повалил на выход. Включили свет, и за экран прибежали мужики. Сообразив в чём дело, они схватили мат и выволокли его на улицу, а нам надрали уши. И ещё долго потом баба Нюра не пускала нас с Сашкой-братом в кино бесплатно, а Кольку-дурака и за деньги.

Марчуги. 26 июня 2014 г.

ОБРЫВ

Мы купались на яме у нашего обрыва ниже Верхнего моста, в который упиралась наша первая Замулянская или, как все говорили, Замуляновская, она там и кончалась у Верхнего моста, а у Нижнего начиналась — это я сообразил по номерам домов.

Мулянка стремительно протекала под Верхним мостом и, оперевшись в наш обрыв, резко поворачивала вправо и несла свои воды мимо нашего шалаша (а там впадал в неё Пыж), мимо всей Первой Замуляновской, лежащей справа, под переходами, под Нижним мостом, который наш дедка-изобретатель взрывал в молодости, в залив, ну а после залива текла ниже и впадала в Каму, где балатовских не стали топить мужики после драки на танцах.

Погода стояла тёплая, но дождливая, и мы целыми днями плавали, играли в вышибалы мячом, катались на камерах от машин до самого залива, а потом, надев их на шею или таща их в руках, шлёпали босыми ногами по берегу обратно к обрыву.

Напротив обрыва была песчаная отмель и наш пляж, на котором мы загорали, а под обрывом — глубокая яма, в которую мы прыгали столбиком — солдатиком, а ребята постарше с Замуляновской ныряли головкой. Все: Сашка-брат, Колька-дурак, Колька Шумарин и старшие: Колька Казаков, Колька Кусакин, Вовка Жихарев — Дыдка, Лёшка Нагибин, забравшись под навес от дождя, сколоченный мужиками для «Народных гуляний», как говорил мой отец, слушали, а я рассказывал, как недавно нас с Сашкой чуть не утопил Колька-дурак, когда мы рыбачили с лодки на озере Дикое. «Мы нашли лодку в кустах, но вёсел не было, а был длинный шест, чтоб отгалкиваться от дна или берега. Выбрались на середину озера, где шест надо было погружать в воду уже полностью, кинули камень,

обязанный верёвкой и служивший якорем, чтоб не сдувало, и стали рыбачить. Клёв был отличный, а погода — не очень, как сейчас. Мы уже натаскали крупных карасей пол-лодки, и начал моросить дождь, и поднялся ветер. Я сказал Сашке-брату, что пора двигать к берегу, и Сашка согласился, а Колька-дурак — нет, очень уж хорошо клевало. Я стал уговаривать его и пугать дождём, а Колька встал во весь рост и зашвырнул шест, которым мы толкались, как копьё, далеко по ветру. И захохотал. Мы с Сашкой-братом опешили. В лодке, кроме нас, рыбы и удочек, ничего не было, даже скамеек не было. И всё бы ничего, руками бы выгребли, не впервой, да сильный ветер тащил нас дальше от берега, и пошёл страшный проливной дождь. Лодка стала наполняться дождевой водой, и мы с Сашкой сильно занервничали, а Колька знай себе хохочет. Мы закричали ему: «Чего ты ржешь?! Мы же потонем!» А он нам в ответ: «А я плавать умею». И мы с Сашкой, вспомнив, что мы тоже умеем, немного успокоились, легли прямо в воду в лодке и стали грести руками к берегу, куда несло. И доплыли. И Колька удрал от нас на берегу. А мы уложили рыбу в наш подаренный папкой вещмешок, и потащились домой, дав километров пять кругалю».

Колька-дурак, стоявший тут же, под тентом для народных гуляний, вдруг заревел и убежал от нас в иву, а все стали смеяться и обсуждать, что ещё нужно было делать, чтобы не утонуть.

Дождик кончился, и старшие, послав нас с Сашкой-братом за хлебом и солью, стали разводить костёр в костровище. Мы сбегали и принесли две буханки хлеба и коробок спичечный с солью. Пошли опять купаться — булькаться под обрывом и вспоминать, как мы в начале лета, после весеннего паводка, нашли тут торчащий из обрыва большой наконечник от копья, бронзовый или медный. Нашли ещё наконечники от стрел и длинную ржавую секиру без ручки. Мы отвезли всё это ору-

жие на трамвае в город и сдали в Пермский Краеведческий музей, где нас поблагодарили и обещали прислать на место находок экспедицию, но никто не приехал, а дядя Коля Кусакин, когда мы ему рассказали, промолвил: «Да, ешь-ма, жили ведь здесь люди-то и раньше, ешь-ма, видимо древнее стойбище было на обрыве, ешь-ма, да паводком и вымыло все ваши находки, ешь-ма».

Потом нас кто-то из старших кликнул: «Картоша готова, идите хавать». И мы кинулись к костру, и Колька-дурак тоже вылез из кустов, услышав про печёнки, и присоединился к нам — он любил картошку. А Сашка-брат, завидев Кольку рядом, сразу отодвигался от него с опаской после того, как Колька-дурак вылечил его от заикания.

Мы поели картошки, и сидели все чумазые, но довольные. Вовка Жихарев — Дыдка значит, встал, потянулся и сказал: «Пойду, нырну». И мы все, оставшись у костра, стали наблюдать за ним. А Колька-дурак встал и побежал опять в кусты зачем-то. Володька-Дыдка был самым умелым из нас ныряльщиком, он лучше всех плавал и учился в школе, он был отличником, и именно он привёл как-то раз зимой нас с Сашкой-братом в библиотеку, где Надежда Николаевна научила нас читать.

Дыдка переплыл яму под обрывом и ловко забрался наверх. Отойдя метров десять от края, он разбежался и ласточкой нырнул с обрыва в воду. Хорошо вошёл, без брызг, но не всплывал долго — он дольше всех нас держался под водой на спор. Потом спина Вовки показалась, а головы не было видно. Сашка-брат посмотрел на меня и сказал: «Что-то не то, Толька». А старшие уже бежали к реке.

Вовку Жихарева вытащили на берег, и он лежал с закрытыми глазами. Колька Казаков — Казак, начал делать ему искусственное дыхание, и Вовка задышал, но глаз не открывал. Тогда Сашка-брат со словами «нужна скорая помощь» побежал

к Верхнему мосту и каким-то образом нашел её там, ехавшую с нефтезавода и вёзшую какого-то обожженного рабочего. Подошел доктор в халате и тётя — санитарка с ящиком. Доктор выслушал наш сбивчивый рассказ, присел к Вовке, что-то пощупал, потрогал, потом спросил: «Переворачивали его?» Мы ответили: «Ага». И доктор сказал Кольке Казаку: «За носилками в машину, бегом!» Вовку Жихарева осторожно перенесли в машину Скорой помощи, как и меня когда-то, в одних чёрных мокрых, в песке трусах, и доктор сказал: «В девятую на Больничный городок». И они уехали, а мы все побежали к Вовке домой сообщить родителям и отнести его сандалии, штаны и рубашку.

Родители, бросив всё, побежали на трамвайную остановку и уехали следом на нашем трёхвагонном трамвае в Балатово, на Больничный городок.

Умер Вовка Жихарев, наш Дыдка, на следующий день в больнице, не приходя в сознание, от перелома основания черепа. Похоронили его всей Замуляновской на Муллинском кладбище, и когда мы уже шли после похорон на поминки, к Вовке домой, то вдруг потеряли нашего Кольку-дурака. Мы с Сашкой-братом вернулись на кладбище, а Колька сидел на свежей могиле среди цветов и венков, ревел и пел: «Вот умру я, умру, похоронят меня. И никто не узнает, где могила моя. И на ту, на могилку, уж никто не придёт, только раннею весною соловей запоёт». Я посмотрел на него и закричал: «Колька, ты что, Колька! Дурак ненормальный, чего ты это, зачем ты...» И заревел, и Сашка-брат тоже.

Марчуги. 27 июня 2014 г.

ЕЛОЧКИ-СОСЕНОЧКИ

Пришла зима. Мы катались с Шумаринской горки, гоняли глызку на льду нашей Мулянки, ходили на лыжах с папкой в лес на Коршун, строили и брали снежные горки, и наконец забыли с Сашкой-братом про библиотеку, и даже про клуб. Зима была снежная и теплая. В школу не хотелось — так хорошо было на улице и на душе. Подходили Новогодние праздники, а значит, и Ёлки, и каникулы за ними скоро. Мы с Кешкой-цыганом вышли на крыльцо после уроков и тут же встретили Кольку-дурака. Кешка что-то спросил Кольку по-цыгански, тот ответил, и мы все трое стали поджидать Сашку-брата из другого корпуса.

Сашка вышел, и мы потопали домой. Шли и болтали ни о чём. Дошли до Кешкиного с Колькой дома и он, опять сказав Кольке что-то по-цыгански, ушёл, а тот, мотнув головой, пошёл с нами.

Свернули на Замуляновскую, и Колька-дурак, остановившись, спросил: «А у вас есть ещё те топоры, которые вам дед ваш — взрыватель, изладил?» Мы от неожиданности переглянулись с Сашкой-братом и одновременно сказали: «Да». На что Колька, заржав, нам ответил: «И у меня теперь есть». И расстегнул полушубок. Я даже вздрогнул, увидев торчащий за ремнём на пузе у Кольки ржавый топор с оббитым топоричем. Мы с Сашкой-братом опять переглянулись и уставились на Кольку-дурака нашего. «Чё уставились? Пойдём в лес ёлочки-сосёночки рубить». Как он сказал «ёлочки-сосёночки», мне аж полегчало. Кажись, и Сашке тоже. И я, уже с улыбкой, спросил: «А на кой их рубить?» На что Колька моментально произнёс: «Дурень, чтобы денег подшабить — Новый год на носу, праздновать надо!» И он опять заржал неопасно. Потом продолжил: «Нарубим ёлок, отвезём их в Балатово, продадим, и деньги будут. Поняли?» Тут мы с Сашкой заулыбались

уже вместе и опять хором ответили: «Да». План у Кольки был простой и замечательный, но у меня возник вопрос: «А как мы их в Балатово повезём на трамвае — это же не камыши?» На что Сашка-брат, как всегда медленно ответил: «За трамвай привяжем — форсить будем». «Что будем?» — не понял я. «Будем форсить. Так старшие говорят», — опять не спеша произнес Сашка-брат. «Найдём толстую проволоку, привяжем к ней ёлки, прицепим за трамвай и поедem в Балатово». «Здорово!» — протянул я, с восхищением глядя на Сашку. И мы тут же, не заходя домой, прямо в своих ранцах, направились в сарай нашего дедки, изобретателя-самоучки. Там было всё на свете, а вернее сказать — всё, что он принёс со своей службы на Перми Второй. Нашлась там и толстая железная проволока. А заодно и топор Колькин поправили. И через час наше изобретение под названием «Форсунка» было готово.

Вечером проводились испытания. На своей остановке «Ключевая» мы прицепились к нашему знатному трёхвагонному трамваю с огромной двойкой «во лбу» первого вагона и поехали. Сначала Колька-дурак упал, отцепившись, потом я, потом и Сашка-брат, а наша проволока — «форсунка» уехала в Осенцы на нефтезавод, за неё невозможно было держаться — скользила. Собравшись все вместе с мыслями, мы решили усовершенствовать наше изобретение: привязали к проволоке ручки — держалки из палок. В общем, через какое-то время изобретение «форсунка» было доведено до совершенства.

И мы наладились на следующий день после школы идти в лес на лыжах рубить ёлки, но не вышло. Полина Ивановна читала классу книгу, сидя напротив меня с Толькой Полотнянниковым — первым, и все слушали, и я слушал, и смотрел на Полину Ивановну. Она перехватила мой взгляд, оторвав глаза от книжки, посмотрела на меня, опустила глаза, тут же снова продолжила и, замолчав, стала смотреть на меня, а я — на неё, а весь класс — на нас, и даже притих, но тут зазвенел звонок.

«Дети! С наступающим вас Новым Годом!» — сказала она негромко и ласково. «Желаю вам счастья и здоровья в Новом году, и хорошо отдохнуть на каникулах, да не забывайте заглядывать в книжку. Урок окончен. До свидания». И все стали собираться на выход, и я стал укладывать учебники и тетрадки с ручкой в ранец. И услышал голос Полины Ивановны: «Толя, задержись, пожалуйста. Я тебя провожу сегодня до дома. Мне с твоей бабушкой нужно поговорить». Я посмотрел на неё и сказал: «Хорошо, только мне надо ребятам сказать, они ждут на улице». «Пойди, скажи и возвращайся, а я пока в учительскую схожу», — ответила Полина Ивановна.

Я оделся и побежал к Сашке-брату и Кольке-дураку, которые уже поджидали на улице, сказал им, что Полину Ивановну жду, которая пойдет к нам домой, и они расстроились: «А как же ёлки?» — медленно спросил Сашка. «Позже пойдём», — ответил я и ушёл обратно в школу, а они пошли одни.

Пришла Полина Ивановна в красивом пальто с воротником и в шали. Посмотрела на меня, улыбнулась, и мы тоже пошли домой.

Бабушка встретила нас с тревогой в голосе: «Что случилось-то, Полина Ивановна, милая?» — засуетилась бабушка, глядя то на меня, то на неё. «Ничего плохого не случилось, не беспокойтесь, Елизавета Ивановна. Я пришла вас с Новым Годом поздравить и поговорить». И, посмотрев на меня, сказала: «Толя, можно мне с твоей бабушкой тет-а-тет поговорить? Это один на один значит». Я тоже посмотрел на неё и, сказав, что, конечно, можно, ушёл на улицу.

Полина Ивановна побыла у нас недолго, вышла, позвала меня и сказала: «Толя, бабушка разрешила тебе проводить меня до трамвайной остановки». И мы пошли. Пока шли и ждали трамвай, она рассказывала, какую культурную программу приготовила для меня на время каникул, а я слушал очень внимательно и кивал головой.

Пришёл трамвай. Полина Ивановна сказала: «До встречи в Новом году». И, помахав рукой, уехала на остановку Леоново, где она жила прямо за магазином, около которого мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком торговали когда-то камыши и теперь собирались подшабить денег, продав ёлки.

У Полины Ивановны я уже был три раза. Первый раз — после ТЮЗА, как она сказала, и потом поправилась — Театра Юного Зрителя, второй раз — после Краеведческого музея, в который мы отвезли свои древние находки с нашего обрыва. В третий раз после галереи, в которой как раз выставили экспонаты Пермского Звериного стиля и деревянные скульптуры Пермского края — так она говорила, а я запомнил.

У неё была однокомнатная квартира на третьем этаже с балконом. Мне там очень понравилось, и особенно удивило меня, что у неё дома стояло пианино и она умела играть на нём, как Елизавета Ивановна — музыкальный работник нашего детского сада. Я думал, что пианино может стоять только в садике, в школе или в клубе, а дома их держать не разрешают. И Полина Ивановна, когда мы у неё были в первый раз, очень удивилась, что я легко подбираю на пианино любые мелодии и знаю много песенок, в том числе и взрослых: «Утки всё парами, только я одна», «Тёмная ночь», «Не кочегары мы, не плотники», даже «Ку-ка-ра-чу» и ещё многие другие. В общем, у неё было очень интересно, а к тому же ещё и вкусно. Она кормила меня после наших экскурсий — тоже её словечко — разными вкусностями, которых я раньше и не пробовал.

Посмотрев на уходящий трамвай, мне так захотелось к ней, что чуть слёзы не полились, но я пошагал по заснеженным Муллам под редкими фонарями на Замуляновскую к бабушке, которая меня и поджидала давно. Поцеловав, она сказала: «Что-то вы долго гуляли с Полиной-то Ивановной?» Ответив, что не было долго трамвая, я пошёл к умывальнику мыть руки перед едой.

На следующий день мы отправились за ёлками, чтобы вечером отвезти их в Балатово и там продать — денег подшабить, как говорил нам Колька-дурак. Несмотря на снежную зиму, лыжня на Коршун была хорошо пробита, и было видно по широкому следу, что по ней таскали ёлки.

Вся наша Замуляновская рубила там ёлки, чтобы украсить ими дома на Новый Год. «Традиция, ешь-ма, аж от Петра Первого, императора расейского идёт, ешь-ма», — говорил дядя Коля Кусакин, мастеря на своём крыльце новую крестовину для ёлки в свой дом. Накануне и мой отец с дядей Федей — Сашкиным батей, тоже сходили на Коршун и срубили две пушистые ели.

А мы с Сашкой-братом установили их на такие же крестовины, как и у дяди Коли Кусакина, а Людка с Галькой, сестры Сашкины, их украсили самодельными игрушками, конфетами и снежинками из ваты. А наш дедка, изобретатель-самоучка, смастерил нам деревянную лошадку на праздник и спаял из лампочек (которые мы с Сашкой покрасили зелёной и йодом) и тонкого провода гирлянду. Потом пошел, снял у папки с мотика аккумулятор, и она засверкала сказочными огоньками. Это было ещё до того, как к нам приходила Полина Ивановна. И наша ёлочка самоцветная ей очень понравилась, и лошадка тоже.

Мы с Сашкой-братом и Колькой-дураком быстро добрались до Коршуна и, выбрав красивые ёлки, срубили их. Я срубил себе две ёлки, и Сашка две, а Колька срубил себе три. Привязав их верёвками, потащились гуськом к трамвайной остановке Ключевая. Кольку оставили охранять зелёных красавиц, а сами побежали домой унести топорики и взять новую «форсунку», а когда вернулись, поняли, что все семь ёлок нам на неё не закрепить. Сашка, посмотрев на них задумчиво, сказал: «Будем перевозить партиями. Вначале отвезём две мы с Колькой, потом я вернусь и отвезу ещё две один, потом ещё вер-

нусь, и мы с тобой, Толька, прицепим и увезём остальные».

Так мы и сделали. Правда, ушло много времени — трамваи ходили редко. Колька-дурак поджидал нас с последней партией в стороне от остановки Леоново. И как только мы с Сашкой-братом прикатили туда, я сразу понял, чего я боялся. Я боялся, что меня может увидеть Полина Ивановна, которая жила за магазином, где мы должны были продавать ёлки. Но замерзший Колька как-то твёрдо сказал: «Берём ёлки, и вперёд с песней». И поволок три своих. Деваться было некуда, и я неохотно поплёлся за Сашкой-братом.

Мы ещё не успели и подойти к магазину, как Колька, поставив свои ёлки к стене у первого крыльца, весело закричал: «Ёлочки-сосёночки! Новый Год впереди! Подходи — счастье не упusti!» И народ улыбался ему — длинному, в полушубке сереньком, в валенках, в шубинках на руках и рыжей шапке набекрень, из-под которой развевались во все стороны смоляные кудри. Тащась за Сашкой-братом, я глянул на Кольку и подумал: «Ему бы ещё красную рубаху — и вылитый цыган на ярмарке». И сам же себе удивился: «Так он же и есть цыган». Подошёл к третьему крыльцу, поставил елки к стене и, обернувшись, увидел, что Кольку через улицу Мира ведёт куда-то милиционер в белой шубе с портупеей, а тот тащит за собой две елки. Я аж присел на ступеньки и услышал Сашкин взволнованный голос: «Толька, надо сматываться, Кольку милиционер арестовал». Я выставил на него свои испуганные глаза и говорю: «Вижу, как-то надо спасать его». И пока мы так, в замешательстве, смотрели друг на друга, не зная, что делать, глядь — а Колька уже обратно идёт и ёлки волочит свои. Тут присел уже ко мне на ступеньки и Сашка, а я встал и говорю ему: «Жди, я сейчас». И бросился в Кольке-дураку навстречу, а он меня увидел и говорит: «В отделение поволок на Леонова 17, протокол составлять, так я ему сунул трёшку — барашка в бумажнике, так он и подобрел: «Ладно, — говорит — торгуй,

чумазый». А я ему: «Так я с пацанами торгую». А он только рукой махнул и ушёл. «Все они одинаковые». «А где же ты взял трёшку-то?» — спрашиваю. А он мне, удивлённо в ответ: «Так я же продал одну ёлку — с вас с Сашкой по рублю». Я так и остолбенел, а Колька протащил мимо меня, ошарашенного, свои ёлки, поставил к стене, опять возле первого крыльца магазина, и как ни в чем не бывало весело закричал: «Ёлочки-сосёночки! Новый Год впереди! Подходи! Счастье не упusti!»

Очнувшись, я побежал к Сашке-брату всё рассказать, а возле него уже очередь за ёлками. Мы продали их на удивление быстро и побежали к Кольке-дураку, который умудрился продать все свои. Мы отдали ему по рублю и, жутко богатые, отправились в этот же магазин, у которого торговали ёлками, на ходу хваля Кольку нашего.

Ёлок у нас никто никогда в жизни не продавал и не покупал, всегда добывали сами. Правда, в этом году, как говорил дядя Федя, Сашкин отец, к райкому партии целый грузовик ёлок привезли и распределяли между сотрудниками райкома и исполкома бесплатно. А дяде Феде не досталось, на что он сказал: «Подумаешь, сам в лес прогуляюсь». И ещё на стадион напротив райкома, где стоит обезьянник, привезли большущую ель и поставили краном. Игрушками украсили, лампочками, и красную звезду на верхушку водрузили, и лозунг над входом поменяли: «С Новым Годом, товарищи!» Всё новый секретарь старается, да работу свою показывает.

В магазине мы набрали всякой всячины, полную хозяйственную сумку: и конфет, и лимонада, и колбасы, и хлеба, а потом, перейдя улицу Мира, где совсем недавно Кольку под конвоем вёл милиционер, мы сели в трамвай и поехали к себе. Вагон был полупустой. Колька с Сашкой уселись, а я пошёл и купил у тёти-контролёра с сумочкой на груди три билета по три копейки. Она посмотрела на меня удивлённо, но, ничего не сказав, продала. Денег у нас осталось ещё уйма. «Всё-таки

какой же умный наш Колька-дурак, какие деньги подшабили!» — подумал я и уселся рядом с ребятами.

Доехали мы быстро. И побежали прятать гостинцы у Сашки-брата в бане, в которую мы обычно с Сашкой и ходили в первый жар вместе с папкой, дядей Фёдей и дедкой, изобретателем-самоучкой. Они надевали шапки, брезентовые рукавицы и парились берёзовыми вениками, а потом выбегали на улицу и с криками валялись в снегу. А мы с Сашкой-братом голышом зырили на них из предбанника и смеялись. Гостинцы свои мы хотели достать в Новогоднюю ночь и всех удивить, но решили понемногу попробовать, да и съели всё, а потом разошлись по домам.

Дома я потыкал вилкой жареную картошку для вида и сказал: «Спасибо, не хочу», забрался на полати и тут же уснул. И снился мне Балатовский магазин на Леонова, широкие улицы с яркими фонарями, украшенные гирляндами дедки нашего, изобретателя-самоучки, снились ёлочки-сосёночки наши, болтающиеся за трамваем, как консервная банка за хвостом кошки, снилась бабушка, молодая и красивая, как моя мама, и мама снилась, снился папка с дедом, копающиеся с нашим мотоциклом ИЖ-49 с коляской, снилась учительница Полина Ивановна, Надежда Николаевна — библиотекарь и Елизавета Ивановна из садика, снился Сашка-брат и Колька-дурак, и вдруг зазвучали радостные голоса и весёлый смех, и я проснулся, опустил голову с полатей, и увидел тётю Нину из Крыма с дядей Пашей и дочкой Маринкой. Они приехали на Новый Год в гости с чемоданом фруктов. Праздники прошли весело. Мы были и на школьной ёлке, и в клубе, и ходили на стадион позерить на большую ёлку, и ездили в Балатово, в кинотеатр Мир. Меня Полина Ивановна водила и в Драматический театр, и в Оперный, и во Дворец Культуры Свердловского Авиазавода, и в цирк, и в Планетарий. Вообще, праздники прошли весело, а каникулы быстро.

Мы опять пошли в школу. В феврале, как раз на наши с Сашкой-братом дни рождения, Жулан сломал ногу, и папка выкатил свой мотоцикл и увёз его в больницу. И обратно привёз в гипсе и на костылях. А через неделю приехала тётя с Перми Второй, где служил наш дедка, изобретатель-самоучка, и сказала, что его увезли с работы на скорой в железнодорожный госпиталь. И папка снова выкатил мотоцикл, посадил бабушку в коляску, и они поехали туда.

Отца с бабкой пустили в палату, и врач сказал им, что у дедки обширный инфаркт, посещать его можно, а оставаться нельзя.

Ночью наш дедка-изобретатель умер. Его похоронили на Муллинском кладбище в лесу, там же, где и Вовку Жихарева — Дыдку. После похорон бабушка слегла, как сказала тётя Тася, мамка Сашки-брата: «Слегла, бедная, горя не вынесла».

Дня через три я пришёл из школы, и бабушка, подзвав меня, сказала: «Толенька, а дедка тебе часики оставил на память. Он мне их в госпитале передал — на-ка вот, возьми. А Сашке-брату твоему автоматическую ручку, ты передай ему. Толенька, родной мой, ты пообещай мне, если что случится, ты поедешь жить к маме — ей ведь так плохо без тебя, так тяжело, да и папке плохо и тяжело, Серёжке-то. Обещаешь?» Я наклонился над кроватью, прижался к ней и тихо сказал: «Да». «Ну, беги к Сашке-то, порадуй его, порадуйтесь оба — дедка-то вас так любил. Царствие ему небесное и светлое место». И бабушка заплакала, и я заплакал от горя, которого бы не было, если бы не было того счастья — знать нашего дедушку и жить с ним.

Ровно через неделю бабушка тоже умерла. И снова прилетели из Крыма тётя Нина с дядей Пашей и Маринкой. И приехали на поезде тётя Тася с дядей Колей и дочерьми. И приехала из Балатово тётя Люся-кока с дядей Мишей и сыном Минь-

кой. И тётя Шура из Гомова с дядей Колей приехали, и мама приехала с сестрой моей Ланкой, и Полина Ивановна — учительница, и Надежда Николаевна из библиотеки, и Елизавета Ивановна из садика была, и вся Замуляновская провожала бабушку во главе с Келем, и Жулан на костылях прихрамал.

Похоронили бабушку рядом с дедом на Верхнемуллинском кладбище, в лесу, недалеко от пустого дома дяди Коти-цыгана, коневода, среди заснеженных ёлочек-сосёночек. А через два дня, придя из школы, я увидел собравшихся за одним столом в доме бабушки всех своих дядь и тётъ. Отец встал из-за стола, помог мне раздеться, и, усадив на скамью, тихо сказал: «Толя, нам надо решить один важный вопрос — с кем ты будешь жить». В доме было тихо, и слышно, как тикают настенные часы с гирьками в виде еловых шишек. Я посидел, помолчал, потом поднял глаза на отца и сказал: «С мамой, я бабушке обещал». Отец, тоже помолчав, произнёс: «Хорошо. Но знай, что это тоже твой дом, и тебе здесь всегда будут рады». И вышел курить на крыльцо.

Отец к тому времени тоже женился, правда, без всякой свадьбы с тройками и ряжеными, даже на баяне не играл, а просто привёз на своём мотоцикле в коляске тётю Люсю с соседней улицы, и они стали жить вместе. Потом у них родилась дочь Танька, а позже — сын Алёшка.

Папка вернулся с крыльца и сказал: «Что ж, будем собирать тебя в дорогу, сынок».

И тётя стали собирать мои вещи в котомку, а дяди в другую котомку собирали мои игрушки, книжки, школьные принадлежности, топорик с ломиком и другое барахло. Потом тётя Люся-кока спросила папку: «Серёжа, может, ты всё-таки отвезёшь на мотоцикле?» А отец подошёл ко мне, присел напротив и сказал: «Нет, не могу, брат, никак не могу. Зимой на мотоциклах не ездят, ты же знаешь». И, потрепав меня по голове, встал и ушёл, не оборачиваясь, на улицу.

Тогда тётя Люся-кока, крёстная моя и тётя Тася, мамка Сашки-брата, одели меня, взяли котомки, а я свой ранец, и мы пошли на трамвай наш знатный, трёхвагонный №2.

Мама жила в Балатово на Больничном городке, в доме 17 по улице Братьев Игнатовых, прямо напротив хирургического отделения, где мне вырезали аппендицит, а потом пришивали палец, а потом штопали веко над правым глазом и щеку после удара «розочкой», а потом — ну, да ладно, хватит...

И на этом моё детство закончилось, а дружба с Сашкой-братом и Колькой-дураком нет. Она осталась со мной до сих пор, в моей памяти и в моём сердце.

Марчуги. 29 июня 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	4
Чиж.	5
Камыши	9
В ночное	21
Щуренок	33
На танцах	38
Карбид	56
Сапожки	63
Волчья яма.	69
Арлекино.	72
Черемуха.	75
Большая дорога	83
Обрыв	92
Елочки-сосеночки.	96

